

УБИЛ ЛИ СТАЛИН ЛЕНИНА?

«ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО»: ОТГОЛОСКИ КАТЫНИ

МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

9

90

Даугава



Фото Айвара Лиепиньша

Даугава

СЕНТЯБРЬ (159)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- 3** *Роальд Добровенский*
Семь жизней Яна Райниса. Главы романа-
биографии. Окончание
- 40** *Юрис Куннос*
Смешение языков. Стихи
- 46** *Андрис Якубан*
Два рассказа
- 55** *Сергей Морейно*
Стихотворения

Публицистика

- 58** *Абдурахман Авторханов*
Убил ли Сталин Ленина?
- 71** *Александр Ципко*
Если бы победил Троцкий... Окончание
- 95** *Беате Краевска, Улдис Ласманис*
«Польское дело»: отголоски Катыни

Обзоры, размышления, рецензии

- 104** *Вадим Руднев*
«Mēs» un mēs.

1990

9

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Memoria

- 108** *Юрий Абызов, Роман Тименчик*
История одной мистификации
- 118** *Владимир Набоков*
Юбилей. Торжество добродетели

К нашим иллюстрациям

- 123** *Инна Каневская*
Кресты над Домом знаний
- 125** **Почта «Даугавы»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

Андрис ЯКУБАН, зам. гл. редактора (член редколлегии), Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК, зав. отд. поэзии (член редколлегии), Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Вадим РУДНЕВ, зав. отд. критики, Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, спецкорреспондент.

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ЯНА РАЙНИСА

Главы романа-биографии

Где-то за усадьбой было озеро (теперь его нет). Рассказывали — или ему пригрезилось? — что там на дне лежат несметные сокровища.

Сокровища лежали, были там, конечно. И на дне. И на поверхности — солнечной рябью слепя. И по берегам Лауце. И мало ли где еще, — только поищи, даже и не выходя из дома, на том же чердаке. Книги, которые он проглатывал там, в одиночестве, — «Жа-ан! Ты где? Обе-едасть!» — кричит не в первый раз, зовет Лизе, но ей не отвечают, — книги внушали ему мечты непрактичные, идеальные, мало подходившие к его положению, слишком оторванные от реального, от отцовых и Лизиних забот.

Доктор медицины Хуфеланд — тот, спасибо, объясняет, что необходимо есть, чего не надо, как чередовать труды и отдых, как двигаться, поддерживать и укреплять силы; это всё дело. А вот Клопшток и Лафатер, Ленау, Гете, Шиллер, Клейст — эти способны сбить юнца с панталыку; не нужно бы ему так много читать: один вот в Калкуне так же точно начитался и — спятил, хотел слишком большого ума — ан никакого не стало, мозги вывихнул.

К четырнадцати годам он законченный мечтатель, идеалист, вот еще слово сбоку откуда-то прикатилось камушком: романтик.

Но и бегун, и пловец, и драчун, кажется, тоже: «Лелюка бьют, я спасаю». Лелюк — это друг его, Леон.

«Старая тетка: мы с Дорой стащили у нее спицы, спрятали под кроватью . . .» А вот запись по-русски: «*Сам ты жулик, вор динабургский!*» — Это, значит, столкновения имели место с заречными, динабургскими мальчишками. «Все земгальские — известные жулики!» — дразнятся те. А ответ наготове: «Сам ты жулик, вор динабургский!»

Еще записи. «Лошадь проваливается под лед, в Даугаву. Мы с

Окончание. Начало см. «Даугава», № 7 и 8.

отцом карабкаемся по обледенелой дамбе наверх». «Сделаться снова детьми. Когда мы снова будем детьми? . . .»

«Папа несет Дору на руках». «Пчела в волосах». «Базенер . . . Лелюк не учится». «Грива. Уроки Базенера . . . Вместе с Лелюком — у докторов в поселке; панский дом, 200 лет». «Ида и черт». «Драка с Руммелем из-за крестьянина». (Лео фон Руммель — соученик.) «Мириться с недругами — не в моем обычае. Но и кулаки всегда презирал».

Мозаика из мелких и крупных событий, их осколков . . . настоящий вес тех происшествий в душе и в памяти никем не установлен и не будет установлен никогда.

«Грива, 8 авг. 1875 — в 10 лет, 17 дек. 1879 — 14¹/₂».

Свидетельство об окончании (школы) № 90. После экзаменов присвоен № 1 с общей оценкой «хорошо».

Мне единственному подарили школьную фотографию — другим выпухать надо было».

И вот что скажет в 1925 году шестидесятилетний поэт: «Все мое детство переполнено чудесными звуками и красками, всё словно бы купается в огромном море поэзии».

В итальянской Швейцарии, у озера Лугано, где жили политические эмигранты — Райнис и его жена, латышская поэтесса Аспазия, — он написал стихотворение «Запах перелога».

«Это было в Кастаньоле. Я проводил много времени на природе. Любил лежать на траве. Так, лежа на лугу, я однажды почуял запах *danckas* — это цветы такие. Они мне очень нравились в детстве, и там на родине, в Беркенхегене, их было много. На чужбине я их не встречал. И вдруг — тот самый запах. Он вызвал в памяти детство, родину. «Давно то было . . .» — прозвучало в моей душе, и этот зачин, эти звуки легли в основание всего цикла «Слова змей». Вся эта тетрадь — символ моих детских воспоминаний».

Запах полевого цветка, узанный через тридцать лет, — и книга стихов, выросшая из воспоминания. У этого человека, как хотите, геннальное обоняние.

«Колокольный звон . . .» — повторено в записях дважды.

В январе 1880 года, уезжая в далекую чужую Ригу, Янис прислушивался с острым чувством разлуки к звону, раздававшемуся, как всегда, гулко и мерно, из-за милых знакомых лип. Теперь уж он окончательно расставался с домом — не на неделю, не на месяц. Он из детства уезжал, даже приблизительно не представляя себе, какая стена — крепче железной и каменной — отделит через несколько часов его первую жизнь от всех остальных, ему предстоящих.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Эта грань, черта, стена — все равно, как ее ни назови, — не выпячена автором из каких-либо особенных соображений: нет, на нее с настойчивостью указывает сам Райнис в своих заметках. Запись от 2 ноября 1924 года: «Детство и отрочество напрочь отделены от юности, — другая психология, другие стремления, окружение тоже другое».

Тогда же: «Рубеж — пубертатное время¹». В тот же день: «Тоска по утерянной детской невинности». «Судьба: вырасти, *pubertätē*». Еще одна запись в тот же день: «Юность, 15—24. *Pubertätē* — нечто ужасное: всё сламыкает.

Религиозный кризис, окончательный разрыв.

Одиночество и пессимизм.

Выход — искусство, философия. Неверие в себя, поиски.

Сочувствие другим — социализм.

И — еще раз: «*Pubertätē*, кризис».

Указывая снова и снова на грань, разделяющую всё и вся, говоря о кризисе, всё ломающем, «ужасном», — не преувеличивал ли сам Райнис?

Нет, можно ручаться: не преувеличивал. Да и зачем бы? Для пылкого мечтателя, идеалиста, романтика, выросшего под крылом чудака Базенера в Земгальской Гриве, каверза, уготованная насмешливой природой на пути каждого подростка, должна была показаться нестерпимо обидной.

Столкновение чувственных желаний, якобы нечистых, с возвышенным идеалом — вообще один из «пунктиков» немецкой романтики, которой Иоганн Плекшан успел наглотаться к тому времени.

Кроме того, нараставшие трения между родителями, самым причудливым образом преломившись, отразились на нем.

Дарта Пликшане, родив своего пятого ребенка, Дору, быть может, надеялась заново привязать к себе высоченного, громогласного, насмешливого мужа, не желавшего ни утихомириться с годами, ни как следует постареть. Странное дело: к малышке, к Доре, он и впрямь привязался всем сердцем, но одновременно охладел к супруге, разом и окончательно. Даже благодарности за дарованную радость он, по-видимому, не испытывал. Ссылаясь на дела, пропал все чаще в Динабурге, в Витебске. Но не так далек Динабург, да и Витебск тоже, чтобы до Рандене не дошли слухи о мужниных развлечениях. О, такого рода новости распространялись со скоростью лесного пожара. Когда семья зажила на два дома, это было, конечно, и признаком преуспевания: арендовать сразу две усадьбы! Многим ли это по силам? — и зна́ком неблагоприятия.

Чем бесповоротней оказывалась холодность мужа и тот, видать, лихорадочный жар, что распространял он где-то там, на стороне (вот уж поистине: седина в бороду — бес в ребро!), тем строже и богобоязненной становилась Дарта Пликшане. Она презирала и ненавидела те постыдные утехы, которым предавался в городе известно кто². Она презирала всех подобных грешников и грешниц; у себя в Рандене она этого не допустит! В конце концов, детей постыдились бы: чему вы их научите, а?

С деревенской откровенностью между тем разворачивались каждодневные события. Сине-зеленые тончайшие стрекозы, повисев в воздухе, стремительно неслись навстречу друг другу, спаривались и

¹ Pubertatis (латин.) — половая зрелость.

² Автор не исключает того, что Дарта, почувствовав себя покинутой, многое преувеличивала.

оказывались единым сверкающим целым. Петух топтал хохлатку из своего многочисленного гарема деловито и гневно — точно она перед ним непростительно провинилась. — потом терял к ней всякий интерес, а наказанная была, кажется, чрезвычайно довольна. Из глубины пахучего стога выглядывали порознь загорелые, согнутые в коленях ноги батрачки, они подергивались. «Мерзость! Грех!» — говорила, напрочь забыв такой же стог, луга, просторный сеновал своей юности, постаревшая Дарта. Нет ничего ужасней, отвратительней, постыдней «этого» — вот что она должна была внушить Янису, однажды и навсегда, чтоб хотя бы он не повторил своего неразумного отца с его богопротивной распущенностью, если не сказать хуже.

Она и вправду хотела сыну добра, кто усомнится. И не чувствовала, не думала тем более, что через него воюет с его отцом. Все то, что тот и слушать бы не стал, что оборвал бы на полуслове бритвенно-острой насмешкой, за что отомстил бы потом, а он умел это делать: умолкал на неделю, на две, ходил, молчаливый и опасный, хмурый, как предгрозые . . . все это она обрушивала на мальчика, прямо в его расширенные голубые глазенки: стыд! срам какой! Ничего нет мерзопакостней и противнее «этого», понял? Тогда у него были другие заботы. Многое, с чем воевала матушка, казалось ему потешным, смешным до колик. Понял, чего тут не понять? Понял.

Огромный чужой город. Один из трех крупнейших портов России. Динабург — там, далеко-далеко — сжался, сделался маленьким, жалким, провинциальным. И — маленький, жалкий, провинциальный — не мог издали защитить никого, сам-то не умел защититься.

В Риге царило совсем другое, стремительное время. Другие походки были у людей. Им всем было куда спешить, а не спешащие никуда как бы всем своим видом подчеркивали: вот, мол, можем себе позволить и помедлить и не спешить никуда; вам-то и не снилась небось такая роскошь! И, странным образом, впечатление стремительности чужой жизни от этого только усиливалось.

Город не глядел на Яниса, у него своих дел хватало — не всегда понятных, но безусловно важных дел. Всякий житель, спешащий куда-то или даже никуда не спешащий, к чему-то давно заведённому относился, был приписан, причислен, включен. Только непрошеному новичку не было места в системе связей, пронизывавших воздух, как пчелиные пути над лугом.

Дóма, да и в школе Янис был одним из центров, вокруг которых обращались интересы, речи, взгляды, да и облака, и звезды.

А здесь он был никто.

Ощущение своей незначительности, деревенской неуклюжести, ощущение внезапного одиночества — другого, не такого, как дома. Беспомощность перед тем неназываемым, непреодолимым, что навалилось и почти не отпускает, — душит, как домовый. Отчего он такой грешник? Отчего видит такие сны, какие сроду не снились ему раньше? Почему голос стал грубым и непослушным и взвизгивает вдруг ни с того ни с сего? Почему зарок — думать только о высоком — нарушается, какая темная сила играет им, точно водоворот щепкой?

Вчера он мог смело взглянуть в глаза кому угодно. Теперь кажется, что любой собеседник прочтет в его взгляде тайну стыдных, притом вовсе и ненужных ему, постылых вожеланий. Господи, ты-то видишь всё, ты не можешь не знать, как мне трудно. Чем я перед тобой провинился?

Одни забыли это мучительное борение души и плоти, другие, может быть, его и не знали? Ко-то находит неприличным даже заикаться о том, что дискант мальчика однажды вдруг превращается в бас или баритон. Еще кому-то тема вообще представляется скорее забавной . . . и уж никак не трагичной.

Наше дело показать, что грань, разделившая вот в этой судьбе отрочество и юность, оказалась испытанием жестоким. Пытка была тем тяжелее, чем выше оказывалось представление юноши о его назначении, чем идеальнее были его мечты. Храбро и слепо молотя руками против течения, пятнадцатилетний гимназист не знал, что борется с собственной натурой, — какая тут, скажите на милость, возможна победа? Да, природа разбудила в нем силы, для которых не предвиделось никакого «законного» исхода в течение еще нескольких лет. И нельзя освободить человека от этой напасти, от мук временной «нечистоты» и безвыходности; нельзя ничего подкачать или переменить, невозможно за него пройти и полшага, сделать и полздоха. А если бы можно было? А если бы в наших силах было вернуть ему детскую безмятежность, охранить совесть, вполне спокойную, не подвергшуюся никаким искушениям? Неужто мы хотели бы этого? От чего спасти юношу? От юности? От жизни? От сомнений? Отковырять дух от тела? И урезанный этот, отлученный от страстей и соблазнов, инфантильный, сладко щебечущий дух, будь он возможен, неужто бы нас устроил?

А когда они все-таки придут к согласию — заносчивая, возомнившая о себе душа и взбунтовавшееся, как случайно набранная команда в открытом море, вышедшее из повиновения тело?

Сам Райнис, напомним, утверждает, что этот кризис: неверие в себя, одиночество и пессимизм, — перерос у него в сочувствие к другим. Так это было с ним, и такой способ возмужания не назовешь заурядным.

Вот перед нами первое письмо Яниса из Риги. 13 января 1880 года ему пошел пятнадцатый год. Через полторы недели после отъезда он выкладывает сестре Лизе все накопившиеся новости. Пишет мальчик по-немецки. Это его рука обмакивала перо, это он, почти ничего не знающий о том, что его ожидает (мы, мы с вами все знаем, читатель, мы с вами всеведущи и бессильны . . .), выводит сверху: «Милая сестра! К тому времени, как вы получите письмо, папа вам все расскажет: занятия начались в четверг, но нет еще некоторых учителей . . . На этой неделе я купил много книг, и когда гулял эти дни, много чего видел; я теперь знаю, например, ратушу, Дом Черноголовых, Александровскую, губернскую и городскую гимназии, 11 церквей и т. д. И город уже знаю довольно хорошо, мог бы назвать еще много достопримечательностей, но описывать долго, я ведь и сам смогу все рассказать вам на Пасху».

Ратуши, Дома Черноголовых не увидишь теперь в Риге — они разрушены в последнюю войну. Но немецкая гимназия, средоточие тогдашних надежд и опасений Яниса, осталась . . . Фасад не дает представления о размерах здания, вытянувшегося тремя корпусами вглубь. Как торжествен простор вестибюля с широкими лестничными маршами по обе стороны! Перила отполированы тысячами рук — те же ли, те же ли самые, которых касалась и ладошка Яниса? Или я хочу слишком многого, и никакое дерево не выдержало бы стольких

миллионов касаний? В здании бывшей немецкой городской гимназии и теперь школа, и быстрый народец, принадлежащий телом и душой скорее третьему, чем нашему с Райнисом, второму тысячелетию от Р. Х., считает эти широкие роскошные ступени с весны до осени, не видя и не слыша их под собой; летят неутомимые детские ноги, постукивают каблочки учительниц, шаркают небось и редкие туфли стариков, всё это — сто тридцать лет подряд, и каких лет!

Окна высокие, высокие потолки; ощущение надежности не только этих стен, но и породившего, выстроившего их мира. Обманчивое, что и говорить, впечатление, но до чего хочется и сегодня поддаться обману!

Начиная с второго письма и на протяжении следующих лет звучит, почти не прекращаясь, тема ожидания ответа — ожиданья всегдашнего, страстного, нетерпеливого, раздраженного, обидчивого, требовательного.

«Милая сестра! Я все еще никак не соображу, почему вы не написали мне ни единого письма. Мое-то вы должны были получить самое позднее в прошлую субботу! Но что было — то было, а теперь хочу надеяться, что вы все-таки сжалитесь и напишете хотя бы несколько строк».

В следующий раз он пишет: «Бог знает, можете ли вы представить себе мои полные страха сомненья, надежду на письмо и — мою великую радость, когда оно наконец, после целой недели ожидания, пришло. В тот же день я хотел было сесть за ответ, — жаль, времени не было. Потом подумал: я-то вам уже второе письмо послал, и вы мне опять задолжали ответ, с чего же мне писать прямо сегодня? Да и день праздничный. Но если бы вы знали, как я волновался, не получив за две недели ни одного письма, вы бы со мной так не обошлись. Кому я на сей раз высказываю эти упреки, не знаю: секретаря не могу объявить виновником, он примет обвинения слишком близко к сердцу. Думаю, теперь хватит читать вам проповедь: ведь вы услышите мою просьбу, да? и напишете мне столько и так быстро, как только сможете? Госпожа Дарашкевич своему Леону пишет сразу — в тот самый день, когда получает от него письмо, и никогда не меньше двух листов».

25 февраля 1880 года «секретарю» — сестре Лизе — отправлено следующее посланье. «Мне уже надоело приставать к тебе с бесполезными упреками. Не знаю, как добиться, чтоб ты написала мне письмо. Будь же так милосердна, напиши его, напиши мне письмо, хотя бы самое короткое в мире. Думаю, время у тебя найдется, а твои руки, которые, я знаю, очень болят, все-таки не сделаются же настолько больны, чтобы ты не могла изредка черкнуть махонькое письмецо. Так что еще и еще раз прошу от тебя покорнейше и смиренно одногоединственного, малюсенького до смешного письмеца».

Как видим, проситель «покорнейший и смиренный» настойчив до депотизма. Но уже выглядывает из этих повторяющихся упреков, из этих настырных умоляющих просьб новая степень одиночества, завладевавшая им надолго.

Адресовать письма новоиспеченному гимназисту следовало так: «Его Высокоблагородию Витолду Антоновичу Копровскому по Столбовой улице № 35 в г. Ригу с передачею Плекшану».

В пансионе по улице Стабу (русское название — Столбовая) жил с первых дней и Леон Дарашкевич. Другу разлука с домом, с любящей

матерью далась, кажется, трудней, чем Янису. Жаловался он, что от пансиона далеко до гимназии, вставать приходится в такую рань, в полвосьмого... И в классе ему не везло. «Беднягу Леона школьники очень уж мучают, меня, наоборот, пока что не трогают. Если Леона спрашивают, хорошие ли у него товарищи, он отвечает обыкновенно: «А, taki parodi!» (конечно, я не умею это написать правильно по-польски)».

Часть одноклассников начала занятия уже давно, в августе. По сравнению с этими «старичками» Янис и Леон, поступившие в январе, подотстали. Пришлось догонять: были у них дважды в неделю дополнительные занятия, по древнегреческому, например.

«Терциане» поначалу не сказать чтобы нравились Янису. Они довольно высокомерны и при этом — ленивы, упрямые. «В терции собралось очень много животных и всяких ремесленников: Wölfe, Bären, Hühner, Hähne, Schmiede, Schneider u. s. w.»¹ Вот уж сын своего отца. Кришьянис Плиекшан любил съязвить по адресу соседей-немцев. Да и не только немцев. Насмешник он был превеликий: умел припрятать ироническое жало в целом ворохе вежливых, безупречно учтивых фраз, и только легкий намек, смысл которого мог быть совершенно непонятен собеседнику, зато в глазах окружающих совершенно менявший весь смысл сказанного, — вдруг звенел в воздухе, как пущенная в цель стрела, и горе тому, кто этого опасного посвиста не слышал! Но и всем арсеналом простонародного сочного юмора он владел и, недолго думая, пользовался. Иное пущенное им слово припечатывалось, приклеивалось к человеку и сопровождало по гроб жизни, делаясь кличкой, вытесняя настоящее имя. От его язвительных замечаний плакали; разрывали, бывало, с ним отношения, уходили куда глаза глядят работники и исполщики. Но тем же самым беркенхегенский арендатор и привораживал людей: кто не любит посмеяться! Ежели другой такой острослов оказывался в гостях у Плиекшанов, все домашние сбегались на бесплатное представление, и на другой день особенно хлесткие и удачные выражения пересказывала вся округа.

«Животные» и «всякие ремесленники», нужно сказать, не скрывали холодности и известной враждебности по отношению к гимназистам-латышам и вообще немцам. Со всем этим Янис сталкивался и раньше, но в Земгальской Гриве даже и вражда была как-то простодушнее: противники были здешние, своей округи; об них самих и их родителях многое было известно, Янис знал, чего ждать от них и чем ответить. Здесь же не грубость и не прямые обиды донимали новичка. Ему просто давали понять, что он чужой и никогда не сделается «своим» — так же как и сын богатого еврейского коммерсанта, как отпрыск русского чиновника. Ему давали понять твердо и почти равнодушно, что никакие его таланты и знания не сделают его ровней, даже и не приблизят к кругу избранных от рождения.

Учителя ни в коем случае не поощряли ни враждебность, ни открытое высокомерие, — но сами были воспитаны в том же духе и поневоле источали те же чувства, которых не поддерживали на словах.

К латышам в каком-то смысле относились терпимее, чем к другим немцам: переходя на чужой язык, сын богатого латыша в конце

¹ Фамилии соучеников Райниса, балтийских немцев, в буквальном переводе: Волки, Медведи, Куры, Петухи; Кузнецы, Портные и т. д. (нем.).

концов как бы вступал на путь отречения от своего нелепого происхождения, от низости и бескультурия, ожидавших его в другом случае. Стремление сделаться немцем — разумеется, несбыточное в полном своем объеме — было все-таки понятно в простом человеке: это извечное человеческое стремление от низшего к высшему!

Для иудеев вежливой снисходительности уже не хватало и у некоторых учителей, но они честно старались скрыть свою необъективность, относясь, однако, с известным пониманием к озорным выходкам школяров в отношении этого элемента.

И особенно пылким и нескрываемым было отталкивание всей, снизу доверху, гимназии от русского беспорядка, от русского варварства, от русского неряшества и лени; чувство превосходства, культурного, расового, исторического, обращалось прежде всего и сильней всего в эту сторону.

Парадоксальным образом лифляндское рыцарство находилось как бы под началом у русских властей. И хотя в столице империи, в Санкт-Петербурге, среди вельмож, в свете, в высших бюрократических кругах влияние остзейских дворян издавна было значительным, да и физически они присутствовали в этих кругах почти два столетия, — все-таки оставалось фактом и то, что Петербург слал свои циркуляры в Ригу, а не наоборот, и русские городовые ходили по улицам, улыбаясь немцу почтительно и нагло, русский генерал-губернатор сидел в Рижском замке, русские купцы вели себя в Риге как дома: то есть никак не по-европейски.

Настоящими хозяевами прибалтийских провинций, и, в частности, Риги, оставались при всем том немцы, подданные российской короны, пропитанные, однако, духом внутреннего непокорства. Их превосходство было столь очевидным, что и спорить тут было не о чем, не с кем. Поразительно, но славяне, даже и разбогатевшие, даже и глотнувшие европейской образованности, не испытывали, кажется, надлежащей робости перед арийским духом, не умели ощутить своей культурной второсортности; даже и немногие дворяне из офицеров и судейских никак не выказывали ни малейшего желания из немцев сделатья немцами и в этом смысле проигрывали вчерашним мужикам: латышам, эстам.

Чему удивляться? Варвар, осознавший хоть сколько-нибудь, что он варвар, делает первый шаг по пути цивилизации. Не так ли?

Балтийские немцы имели основания для гордости. Они бесспорно были носителями европейской культуры в этих краях; имена Канта и Гердера не попусту слетали с их уст. Философия, право, история, литература, театр, музыка — все это связывало их с Восточной Пруссией, со всей остальной Германией; но у них была и собственная история, свои музыканты и поэты, свои артисты, свои архитекторы и математики. Они сами были причудливым и пышным ответвлением германской культуры, обогащенным соками здешней страны, орошенным ее водами.

А в России, казавшейся им такой грубой и провинциальной, в это самое время, в 1880 году, среди «варваров» и лентяев ходили, ничем особенно не отделяясь от людей своего круга, Достоевский и Мусоргский, Менделеев, Бутлеров, Толстой, совсем юный Чехов, Чайковский, Римский-Корсаков, Вл. Соловьев . . .

Русская община в Риге не могла похвастаться громкими именами; своеобразную культуру вынесли и не расплескали за долгие десятилетия разве старообрядцы; среднее же чиновничество и купечество не успело выделить специально культурной среды, не успело создать тот слой нуждающихся в культуре, что служит залогом ее появления и развития.

«Варварами» казались, однако, важным соученикам Яниса не рижские русские, а русские вообще, и этот взгляд едва ли был им прирожден — нет, они усвоили его от родителей, почерпнули в окружающем их воздухе.

Но гроздь первых пришедших на ум русских имен имеет отношение уже не к одной только стране; тут человечество вглядывалось в себя новыми глазами. Нет, ни у лифляндских рыцарей, ни у их наследников не было столь уж бесспорных поводов для высокомерия. Ни ввиду прошедшего, ни ввиду ожидавшего их будущего.

Всё это вроде бы прямо и не касалось нашего героя, но влияло на него косвенно. Мировая поэзия, мировая история и культура приходили к нему через немецкую речь, немецкую книгу, учителя-немца. Через тысячу ежедневных уколов, через массу повторяющихся впечатлений воздействовала на него компания ровесников. Он не мог принять взгляд большинства гимназистов на латышей: здесь сама его кровь была ему противоядием; здесь гордость и мнительность, врожденный талант и врожденная ранимость защищали его, не давали отступить и сдаться. А вот пренебрежение, направленное на что-то третье, позволяло перевести дух: от него, слава Богу, не нужно было немедленно защищаться. Не на уровне сознания, а на уровне нервных волокон Райнис остается навсегда человеком западных традиций, и почти неуловимое недоверие к культуре, идущей от восточных соседей, в нем проявится не раз помимо воли. А то и не помимо. Это мы увидим.

Об учителях Янис докладывал подробно в очередном письме домой. «Каждый из нас должен выбрать среди преподавателей своего класса вроде бы опекуна. Этот учитель потом следит за его прилежанием, поведением, подписывается наравне с родителями под всякими записками об оставлении после уроков и пр. Мы с Леоном выбрали добродушного учителя истории господина Гиргенсона. Еще один добродушный (слишком уж добродушный для нашего класса) — учитель математики Хензель. Есть старый чудак, преподаватель русского языка (чуть ли не на каждом слове у него шуточки!) господин Халлер, он составитель какого-то учебника. Остальные: хитрый и злой Шлаус (латынь); Фризендорф — сердитый, но отходчивый, — он вместе с каким-то Курцем составил греческую грамматику, чем и гордится. Добрый старый Гросс преподает немецкий, а лысый и кривоногий, зато безобидный Хелмзинг — закон Божий; есть еще, наконец, учитель гимнастики Мейснер . . . »

Как подумаешь о сотнях, тысячах имен, а значит, лиц и характеров, которым еще предстоит войти в эту жизнь, прочертить на поверхности или оставить в глубине свой след, так и невольное беспокойство охватывает. И сомнение: стоит ли перегружать нашего торопливого современника этими множествами иноязычных фамилий? Некоторые из них, это уж ясно, мелькнут перед нами и исчезнут, провалятся в прошлое, из которого у них, кажется, уже и не было шанса выглянуть хоть на миг. Ну кому сегодня интересны злость и хитрость

латиниста Шлауса, лысина и кривые ноги, а также природное добродушие господина Хелмзинга, преподававшего сто десять лет назад закон Божий в одной из рижских гимназий? Может быть, привлекает самое чудо этого возникновения над свинцовой поверхностью Леты благодушной, давным-давно забытой, но, как видим, не исчезнувшей пасторской лысины. А с ней мгновение, одно из мириад сгинувших и — вот! — остановленное . . . не оно ли водит сейчас моей рукой и не дает вычеркнуть эти, в общем-то посторонние, отвлекающие от основного повествования строки?

Воля ваша — а я буду обращаться и к таким, почти наугад выхваченным из засосавшего их небытия именам, предметам, происшествиям. Буду заносить их сюда без заранее заданной цели, не привязывая ни к каким выводам. Дать им глоток воздуха вполне бескорыстно, чтобы в некую долю секунды ощутить колющий росток чужого времени, торкнувшийся в теперешнее, обвальное: наше.

С тех пор как появляются подлинные письма Райниса, мы к ним привязаны. Начиная с четырнадцати лет человек сам о себе рассказывает — да не после, не задним числом, а тут же. Еще и капли дождя, о котором он через секунду напишет, сверкают у него в волосах!

Но и не будем простаками. Очередное письмо не вмещает всего человека и его тогдашнюю минуту. Оно не исповедь и не дневник. Оно и не монолог даже, как может кому-то показаться, а часть диалога, вроде слышимой посторонним половины телефонного разговора. Вдобавок автор письма может быть правдив, а письмо в то же время — нет, не правдиво, обманчиво; человек верит, а слог его выдает сомнение; письмо натужно весело, а его автор хандрит. Не говоря уж о том, что несомненная для пишущего истина может обернуться заблуждением, без этого и не бывает. Дареному коню в зубы не смотрят? Нет, мы-то будем заглядывать, так сказать, дареному факту и в лицо и за спину, будем ощущивать его недоверчиво, крутить так и этак: нам нельзя обмануться. Не хотелось бы: и при жизни, и после нее этот человек был так часто непонимаем или понимаем превратно; а там пошли натяжки, намеренные умолчания, наконец и прямые фальсификации, возводимые в канон и становившиеся важной частью всеобщей и обязательной фальсификации действительности, перемарывания и перетолкования истории . . . Оглянешься, вздохнешь глубоко: нет, постараться бы избежать самых добросовестных заблуждений; трудно, может статься — и несбыточно, а пробовать надо. И поверяя сомнением всё без исключения, каждую строку, каждый факт, каждое свидетельство, я рассчитываю на читательскую неумолимую придирчивость: сомневайся, читатель! Прикидывай возможные варианты событий, не верь глазам своим, спорь со мной, с собой, с ним . . . Но уж в чем убедишься, в чем дашь себя убедить — на том давай стоять вместе.

Встречается и факт простой, однозначный, с которым не помудришь — и нё к чему.

«Книги очень толстые и потому сильно дороги. Греческий словарь стоит 4 руб. 80 коп. — но зато он такой большой, богатый, с красивым и прочным переплетом, так что я не хочу отдавать его Леону и за 5 руб.; еще купил русский и латинский словари, первый стоит 3 руб. 89 коп., второй — 2 руб. 50 коп.; за лекарства отдал 1 руб. 67 коп., за книги всего 23 руб. 80 коп.; еще за учебу заплатил 4 руб. 50 коп., за галстук — 35 коп.; извозчиком, пока здесь был папенька,

тоже переплатил немало, так что осталось у меня три рубля с полтиной и с копейками.

В Риге на этой неделе был переполох: из Петербурга прикатил знаменитый музыкант Рубинштейн и дал здесь несколько концертов на фортепиано. Насколько он знаменит, это можно было видеть по ужасной давке, начавшейся при продаже билетов. Один школяр уже в 6 утра прибежал к кассе, хотя открывается она только в 9.

Говорят, годовщина 19 февраля будет отпразднована очень пышно. Каникулы будут 9 дней, в Александровской гимназии поставят «Эдипа» — только, к сожалению, на греческом языке. Целая неделя, срок немалый, я мог бы поехать домой, да только нужно подумать: платить за это удовольствие целых 6 рублей — не шутка».

На эти февральские праздники в Ригу приехал отец, и утром Янис гулял по городу с ним, а вечером — вместе с гимназистами. В центре, на Александровской улице, гремела полковая музыка. В окнах и витринах, сплошь ярко освещенных, «среди цветов и зелени виднелись бюсты царя и царицы; в других на кусках ткани были вензели «А» и «М» с короной и прочими украшениями, а кое-где сверкали надписи вроде:

Боже, царя храни!

или:

Имя царское благословенно.

Его любит мир! И его любит «Вена»!

(«Вена» — гостиница).

Янис с увлечением описывает и площадки, расставленные вдоль улицы, с салом и зажженными фитилями, факелы, бенгальские огни. Письмо было адресовано Лизе и заканчивалось так: «Мы переводим и учим наизусть «Одиссею» Гомера; Цицерона тоже заучиваем на память».

Все-таки как многослойно каждое отдельно взятое время! Как в нем всё перемешано, какие пронзительные несочетаемости попадают сплошь и рядом! В одной и той же памяти, в один и тот же миг вспыхивают и строки:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына . . .

и:

Его любит мир! Его любит «Вена»!

Не без иронии поглядывает остроглазый гимназист на бюсты царя и царицы в освещенных витринах . . . И вовсе не так уж далеко от Риги и от этой Александровской улицы вглядывается в свое недалекое будущее тот, в чью честь эта улица названа. Царь-освободитель . . . Еще недавно в его родной стране это словосочетание если и приводилось и припоминалось, то непременно в кавычках. А ведь он был, воспринимался именно так современниками; вовсе не без колебаний решился на громадные и, что уж говорить, запоздалые перемены, преодолел сопротивление, недоверие, ненависть, вспыхивающие непременно в дни таких переломов и направленные вместе с чьим-то восторгом и с чьим-то лицемерным славословием на ключевую фигуру событий.

Может быть, наивно — но видятся мне на фоне роскошной иллюминации два темных, неосвещенных окна, и отдельно, каждый перед своим двойным стеклом, стоят молчаливо государь, Александр Николаевич, императрица Мария Александровна. Дни царицы сочтены. Недавний ли — 5 февраля — взрыв, устроенный вездесущими революционерами прямо здесь, в Зимнем, или измена мужа, его

уже и не скрываема́я связь с княгиней Долгорукой, — какое огорчение больше отравляет, доканывает бывшую гессен-дармштадтскую принцессу? Смерть, грозная и для царей, притаилась рядом, вот она. А потом . . . поспешный морганатический брак императора с Е. М. Долгорукой не выглядит ли шагом судорожно-предсмертным? Загнанность какая-то чудится и здесь. Год, всего год жизни с крохотным довеском, неделей, впереди у августейшего юбиляра. 1 марта 1881 года в своей столице погибнет император от «брошенного в него взрывчатого снаряда».

А незадолго до этого уйдет из жизни Ф. М. Достоевский. С каким провидческим ужасом наблюдал он азартную охоту террористов на русского царя, главной виной которого, как ни крути, была разве отмена крепостного права! Как безошибочно разглядел в этой облаве соблазн отцеубийства, скрывшийся за лозунгами справедливости! О, сколько же было раз и навсегда разбито вздремав, в ключья разорвано тем «взрывчатым снарядом», и если бы кто-нибудь из подготовлявших с маниакальной страстью, вновь и вновь начинавших сначала и доведших до конца дело убийства, мог бы прозреть и увидеть те миллионы мужчин и женщин, те десятки миллионов будущих жертв — не остановился бы он все же? Может быть, и не остановился бы.

Как многие, большинство из нас, он жил в нескольких временах разом, в нескольких странах света. Картины, нарисованные Гомером и Софоклом, Жан Полем и Шекспиром, с очередным уроком входили в его повседневность, ничуть не менее внятные, чем воркотня квартирной служанки, столкновение с одноклассником, уличное происшествие. Реальность, фантазия своя и чужая высвечивали и оттеняли друг друга.

Тут его жизнь отличалась коренным образом от жизни его отца, протекавшей главным образом в настоящем: здесь и сейчас. Неразбавленная никакими отвлеченностями, веселая и грубоватая, земная сила отца искала немедленного применения. Его ум сравнивал, считал, предугадывал ближайший шаг соперника, партнера, продавца, работника; взвешивал, на что способен собеседник, какие сюрпризы может преподнести погода: небо, земля, река, — и люди, и другие живые твари.

У матери были кроме той же сегодняшней, тутошней и теперешней жизни еще песни. А песни знали только вечно-настоящее, всегдашнее: как месяц и звезды, как печаль, как могильный песчаный холм, как детская колыбель.

Изредка и в крестьянские будни вривалось постороннее художественное впечатление. Чужому, да еще городскому человеку оно могло бы показаться бедным, если не жалким. А я думаю: может быть, чудесная восприимчивость деревенской публики во столько же раз умножала значение виденного и слышанного, во сколько событие само по себе было скромней какой-нибудь рижской или петербургской премьеры?

Первое в жизни театральное представление Янис видел лет в девять-десять, — потом ему представлялось даже, что и еще раньше.

Спектакль был любительский. Комедию «Ицик Мозус» сочинил Адольф Алунан, тогдашний руководитель театра при Рижском Латышском обществе.

Ах ты славный Ицик Мозус,
Я в тебя тогда влюбился! —
сказано в стихах Райниса о детстве.

Потребность человека в зрелище, в актерстве, своем и чужом, врожденна. Лицеизречение игры и соучастие в ней, лицедейство, — иногда домашнее, которое никто никаким театром не считает, — есть условие нормального существования. Жизнь без игры, без передразнивания всего и вся, без театра выхолащивается, наполняется пошлой, дутой важностью. С младенческих дней Янис видел, конечно, немало балагурства и актерства повседневного. Простодушное искусство обступало его. Мать пела, Лизе пела, цыганская или еврейская скрипочка рыдала прямо с проезжающей повозки; ряженые в вывороченных шубах на Мартыня¹ вваливались в дом и подымали визг и шум; маляр расписывал шкаф — и это тоже был театр. Театром был разговор отца с непонятливым соседом; театром — яростный, веселый торг на рынке в Динабурге.

И все-таки представление проводило явственную грань между «просто жизнью» и той заведомой ахинеей, что творилась у тебя на глазах в волшебном, выделившемся из всего окружающего просторанстве. Там время иначе текло. Там люди были разом и собою и кем-то другими; там они дурили и врали так занимательно, так складно и смешно, что зрители держались за животы. Преображались и они, зрители. Изымались из обыденности и — целиком, с сапогами и туфлями, — оказывались внутри анекдота и песни, в сердцеvine чьих-то страстей, чужих чудачеств, безумств.

Намазанные сажей и свекольным соком, в париках, с приклеенными носами, среди предметов, тоже потерявших свой прежний характер: даже скамейка, попавшая на сцену, участвовала в игре, как бы по-своему становясь актёркой, — знакомые люди изумляли, и одинаково в них тебя царапали и совсем новые их черты, и узнаваемые, всегдашние, поворачивавшиеся здесь иначе.

«Первый театр (Ицик Мозус) в Стейнберге». Запись, сделанная Райнисом 9 декабря 1924 года. В другом месте записано еще: «Театр в гостинице».

Гостиница была, должно быть, сельская, придорожная. Зрители и актеры знали друг друга; занавесом служили простыни, сшитые на живую нитку.

Ах ты милый, старый Адольф,
Как же я в тебя влюбился! —

напишет еще через десятилетия Райнис. «Старому» Адольфу Алунану было в те времена, о которых поэт вспоминает, лет двадцать семь. Это когда еще, через сколько лет впервые нарекут его «отцом латышского театра»!

Янису повезло, что первое «театральное» впечатление навек связалось для него с латышской пьесой, латышским языком. Могло ведь случиться и иначе. Следующая встреча с театром случилась в Динабурге — то была комедия, разыгранная русскими актерами. В Риге он уже был на спектаклях самого сильного в ту пору Немецкого театра.

¹ Народный праздник; в Европе — день св. Мартина. В Латвии отмечался с вечера 9 ноября.

А вот теперь увидел, услышал трагедию Софокла «Царь Эдип» на том самом языке, на каком она была сочинена примерно за две тысячи триста лет до гимназического представления. Будущему поэту, драматургу, трагику выпала возможность встретиться с трагедией в чистом виде, в ее первозданности.

Счастлив каждый, кому удается вот так, с первых шагов, вкусить подлинности, неразбавленной и незамутненной, в том, что позднее составит смысл его существования. Может, тут как раз он и решается, этот смысл, завязывается узелок, из которого потом брызнет вниз — пучок корней, вверх — пучок побегов.

Он пишет о состоявшемся представлении подробно и с некоторой торжественностью. «24 февраля 1880 года в зале Александровской гимназии в Риге был греческий театр. Ставили «Эдипа». Все актеры — гимназисты, среди них князь Друцкий-Любецкий, он играл Иокасту. Сцена была устроена по греческим образцам и украшена колоннами, занавес поднимался снизу вверх; посередине стоял увитый цветами алтарь, внутри которого сидел, между прочим, суфлер. Пьесу давали на греческом языке. Самого Эдипа играл рослый секунданер¹, остальные артисты все до одного были из «примы». Он был в белом длинном одеянии, поверх которого надел еще белый плащ с зеленой каймой. Этот плащ Эдип перекинул через плечо. На голове у него сверкала золотая корона, на ногах — желтые сандалии со шнурками того же цвета и на каблуках, чтобы выглядеть еще выше; в руке он держал копье с золотым наконечником. Платье Иокасты — синего шелка, поверх него белая ткань, шитая золотом и отороченная снизу широкими кружевами, сквозь которые можно видеть то первое, синее платье. Волосы ее были завязаны греческим узлом и украшены диадемой. Поздней она прикрыла их большим, с иго шелка платком. Еще один жрец, или кто там он был, запомнился: на нем было красное одеяние поверх золотого, перетянутое широким серебряным поясом, кроме того, и еще плащ, вытканый серебром, накинут на плечи... Хор жрецов: все в длинных одеяниях разных тонов, причем с рукавами (а у других рукавов не было!), и у всех шерстяные серые накидки и на головах венки. За спиной царя — два телохранителя в простой одежде воинов. Много персонажей без слов — слуги, герольды, гонцы, и все красиво одеты. Тиресий с мальчиком-поводырем вышли одетые очень просто. У слепца был длинный пастушеский посох и белая ниспадающая борода. После того прибыли еще гонец, пастух; оба совсем бедно одеты, в туниках чуть ниже колен и в накидках; у пастуха, как мне показалось, на голове была старая фетровая шляпа, только верх у ней закручен.

Все играли очень хорошо, особенно — Иокаста, Эдип и жрецы, из которых говорил только первый жрец, а остальные пели хором под рояль и под орган. Спектакль устроил учитель греческого языка этой гимназии в пользу малоимущих школьников».

Учитель, господин Фризендорф, сокрушался, что произношение у актеров неважное. Хорошо еще, что зрители знали сюжет трагедии, знали, о чем говорят Эдип, Тиресий, Креонт, Иокаста.

¹ Т. е. гимназист из второго класса, «секунды». «Прима» — первый, самый старший класс.

Иокаста. Коль жизнь тебе мила, молю богами,
Не спрашивай . . . Моёй довольно муки!

Эдип. Мужайся! Будь я трижды сын рабыни,
От этого не станешь ты незатной.

Иокаста. Послушайся, молю . . . О, воздержись!

Эдип. Не убедишь меня. Я все узнаю.

Иокаста. Тебе добра хочу. Совет — благой . . .

Эдип. Благие мне советы надоели.

Иокаста. Несчастный! О, не узнавай, кто ты! ¹

Но, не желая слушать предостережений, всё более зловещих и прямых, уже почти догадываясь о том, что вскоре услышит, царь Эдип сам обрушивается на себя груз страшной, раздавливающей правды.

Если бы взрослые, профессиональные артисты говорили бы со сцены, вряд ли впечатление было бы большим. Такие же подростки, на год-два старше Яниса, там, в заколдованном круге сцены, в роскошных и ярких одеяниях произносили стихи, пришедшие прямо из древней Эллады. Мне не дают покоя две тысячи триста лет, преодоленные в этот день и час, ненадолго, но преодоленные. Не могу выделить главного героя происходящего: был ли это царь Эдип? Или Софокл? Или семнадцатилетний князь Друцкий-Любецкий, игравший Иокасту? Или господин Фризендорф, учитель древнегреческого? Или же все-таки — он, четырнадцатилетний гимназист, впивающий каждый жест и шаг участников спектакля? Как он думает о происходящем на сцене? Переводит ли мысленно слова Эдипа на немецкий, на родной латышский?

«Несчастный, о, не узнавай, кто ты!» Бедная, бедная Иокаста! Слово бы это возможно; словно бы удавалось кому-то отбиться от этого вопроса, от необходимости для каждого человека и народа: знать, «кто ты». И отвечать на это, за это.

Где ж справедливость? Может ли мальчик Янис Пликешан отвечать за то, что шестьсот-семьсот лет назад вторжение чужеземцев переломило надвое судьбу его земли, его пращуров? Может или не может — отвечает. Он родился-то наполовину ограбленным. Родился на той земле, где и тысячу лет назад он жил в образе дальнего предка . . . но язык и обычай исконных жителей края и теперь оставался в небрежении, реальная сила и власть принадлежали тем же рыцарям, благополучно пронесшим свои северогерманские гены через несколько трудных веков; чужими именами были окрещены на картах родные реки и холмы, озера и города. И на чужом языке — по-немецки — пишет он письма домой. И тут, замечательно вовремя, вмешивается и дает ему неоценимый совет старшая сестра Лизе.

«Написал бы ты маме поскорей порядочное письмо по-латышски, она давно уже ждет, — да и тебе было бы весьма полезно поупражняться в латышском письме, иначе как бы ты не забыл наш несчастный язык, — ведь к нему даже и в Риге относятся с пренебрежением».

Повторять не пришлось. Латышский все чаще встречается в письмах

¹ Перевод С. Шервинского.

гимназиста, покуда полностью не вытесняет немецкие фразы. Немецкий, конечно, остается языком ученья и повседневного общения с товарищами, языком его официальной жизни; а языком домашним, языком родства и дружбы, языком недозволенных мечтаний и снов становится навсегда латышский. Этот выбор, тайный и окончательный, отделял его от многих учителей и ровесников, но и определял возможность новых, будущих связей и дружб.

Только маленькой Доре он по-прежнему пишет по-немецки: это потому, что она тоже учится, в Земгальской Гриве — в той самой немецкой *Land schule* с львами и ангелом (только девочки занимаются в отдельном, меньшем здании). «Не смеются ли над тобой из-за немецкого произношения?» — спрашивает Янис сестренку. И тут же спешит похвалить ее: — «Вот уж не думал, что у тебя такой хороший почерк и что ты так много понимаешь уже по-немецки!» И в следующем письме: «Твой почерк теперь гораздо лучше моего и во много раз правильной . . .».

Его в родном доме воспитывали с некоторой суровостью: такова была манера сестры Лизе; «слюнявых нежностей» не терпел и отец. А он щедр на похвалу, ласков и нежен; он думает, что воспитывать детей лучше всего любовью. «Милая, маленькая сестренка, — пишет Янис Доре 6 апреля 1880 года. — По Даугаве плывут теперь большие корабли, ты таких и не видывала! Но эти большие корабли — всего лишь пароходы, и они все-таки не так велики, как парусники, которые появятся немного позднее. Много хорошего в Риге, — но кое-что здесь и плохо: это вода, которую нам приходится пить, она такая грязная, рыжая, как чай, прямо пить невозможно. А у вас вода чистая? Не верится. У вас ведь тоже сейчас ледоход».

Немного позднее в Риге появлялись парусники — плыли, скользили вдоль берега, сверху вниз поглядывая на чумазы и приземистые пароходы; те в ответ гудели насмешливо; и что-то там показывали жестами и кричали, не заботясь о том, чтобы быть услышанными, команды одна другой; казалось, на реке да и на берегу в горячую пору вообще никто никого не слышал, но всё шумно и безалаберно двигалось, чуть не сталкивалось и разрешалось в последний момент; суда проходили впритирку друг к другу, чудом не задевая чужого борта; мешки и бочонки взлетали и спускались по трапам на мускулистых горбах; шутки, брань на семнадцати языках, смех, визг лебедек, тарактенье машин, хлопанье мокрого паруса — все эти и множество других звуков; смесь небывалых запахов, растекавшихся потом по городу малыми, всё истончавшимися дозами . . . Полторы тысячи кораблей из множества стран принимал рижский порт — где они все? Где ссыпавшиеся с высоких рей пятимачтового торговца матросы и юнги? Где ветра с четырех сторон света, застревавшие мелкими атомами, пристававшие намертво к парусине, так что контрабандой проникал в Ригу воздух и арктических и экваториальных широт? . . . Где моряки, знавшие слова и выражения, потребные для работы, любви и драки, по-английски и по-голландски, по-немецки и по-русски, на языке фарси, по-китайски и по-польски, и лишь в глубоком опьянении переходившие на родной, материнский (но не слушались губы, забывал, куда ткнуться, отвыкший язык; падала, точно цветок или плод, голова на воняющий ромом и водкою стилик)? Где колониальные товары, где те колонии, из которых они привозились? Где весь тот мир, на который глядел, излучал синеву своих глаз Янис Плиекшан? Отдельные строения, вещи, пришедшие прямоком из того

мира, по-прежнему в Риге: вписаны в наше измерение. Может, люди и времена скреплены как раз этими, переходящими из столетия в столетие холмами, водами, предметами, зданиями, мелодиями, словами, как несколько отдельных пластин могут быть скреплены общим стержнем? Вынь стержень — всё и рассыплется.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Беркенеле появилось пианино! Купили его для Доры, и она сразу же начала учиться. Когда брат приехал из Риги, Шишечка (домашнее ласковое прозвище Доры) с важностью показывала уже, каких достигла успехов. Янис захотел тоже поучиться, уже у Доры, гордой донельзя этой новой ролью. По словам Лизе, оброненным в одном письме, «ученик вскоре превзошел учителя». (На следующую зиму Доре подыщут серьезного преподавателя. Честно отработывая свои три рубля серебром, он из месяца в месяц будет тянуть вверх свою ученицу, так что у Яниса не останется вскоре шансов так просто догнать ее.)

Лизе тем же летом уехала лечиться на курорт Аренсбург, что на острове Эзель¹. Теперь не она Янису, а Янис ей сообщал из Беркенеле домашние новости.

Лизе страдала ревматизмом. Боли в суставах порой становились нестерпимыми. Тем обидней была проклятая хворь, что жизни она, Лизе, казалось, почти и не видела . . . Она была миловидна, умна, образованна; богатство старого Пликшана также не оставалось ни для кого секретом. Много ли во всей губернии нашлось бы таких невест? И ведь были, были у ней поклонники, домогались ее руки не один и не двое. Но отец так и не дал своего согласия в те дни, когда собственное счастье Лизе было еще возможно. Теперь несбывшиеся старые мечты переродились, кажется, в ту самую боль, что терзала ей руки и сердце с каждым годом немилосердней. Да, именно так: руки и сердце . . . *Ревматизм* — было имя самого удачливого из ее женихов, обошедшего всех соперников. Он и победителем выйдет в конце концов, только вместо фаты на невесте будет саван.

Осень обозначилась крупными переменами.

В Риге отец повез Яниса не на прежнюю квартиру, а в другое место. Янис и его друг Леон Дарашкевич устраивались жить на полном пансионе в семействе Бернхарда Дирикиса, известного издателя, владельца самых популярных в Латвии газет — «Балтияс вестнесис» и ежедневной «Ригас лапа».

Выслужив в Рижской камеральной палате место чиновника по особым поручениям, Дирикис был к тому же пожалован почетным званием гофрата; он этим чрезвычайно гордился и требовал, чтобы домашние его называли не иначе как *господин гофрат*.

Но эта и другие маленькие слабости казались вполне извинительными рядом с общеизвестными заслугами этого человека: Бернхард Дирикис был одним из основателей Рижского Латышского общества.

¹ Остров, входивший тогда в Лифляндскую губернию, называется теперь по-эстонски — Сааремаа.

Над латышами, как многометровой толщины лед, возвышались чужие порядки и установления, чужая география, чужая история. Чужая власть; глыба эта, нависавшая над каждым в отдельности и над всеми вместе, запирала всякий выход, препятствовала поступлению кислорода, дышать мешала. И когда приоткрылись первые щели — как жадно приникли к ним задыхавшиеся рты! Среди первых, припавших к первым же крохам внешнего воздуха, к знаниям, был Бернхард Дирикис.

На двадцать втором году жизни, в 1852 году, он покинул стены Главного педагогического института в Санкт-Петербурге (между прочим, через год те же стены приняли в себя студента Николая Александровича Добролюбова). Потом на острове Эзель он преподавал русский язык в том самом Аренсбурге, где много позже лечила свой ревматизм сестра Яниса Плиекшана Лизе.

На протяжении веков завоеватели и их потомки присваивали себе самых талантливых и удачливых из латышей, снимали сливки с народа, обращая тех, кто выбился в люди, в «своих» и отчуждая от материнского языка, от родного окружения.

Бернхард Дирикис был из первых латышей, получивших изрядное по тем временам образование и не переставших быть латышами. Сейчас это выглядит само собой разумеющимся, — но тогда это был целый переворот! И нескоро, только теперь вот, в восьмидесятых, в девяностых годах, бывшие крестьяне, стекаясь множеством ручейков в Ригу, распробовали по-настоящему, что это такое: быть и оставаться самими собой, не стыдиться своих предков и их «простоты», искать в родном языке и в доставшемся от предков характере заветы, которых не могло же не быть? Латышское общество сделалось за два десятилетия домом для притекающих в Ригу латышей: приезжаешь, а тебя ждет уже в этом громадном и непонятном городе по крайней мере одно место, где ты интересен сам по себе: тем, что ты латыш, тем, что ты решился и приехал в Ригу, твоим будущим и твоим прошлым. Потом у кого-то появлялись поводы и для разочарований: люди не ангелы были и в Рижском Латышском обществе; сталкивались претензии и амбиции, в том числе и необоснованные. По-деревенски вольготно жила в Риге сплетня, пища для нее хватало; сплетня ведь неприхотливей любого верблюда, она с удовольствием питается даже колючками и шипами зависти — а уж на что, кажется, неаппетитное блюдо! Многое можно было сказать, таким образом, не в пользу Латышского общества, но другого подобного не было, и без него жизнь латышей в славном городе Риге казалась уже непредставимой.

Бернхард Дирикис был, кроме того, автором первой книги о латышской литературе. Вышла она еще за пять лет до рождения Яниса, а устареть успела, кажется, еще раньше. Но с книгами творятся разные странности: даже самые их явные изъяны оборачиваются иногда достоинствами. Наивность и чуть ли не преждевременность той старой книги Дирикиса всё росла и росла в цене: была бы не столь наивна — не говорила бы так много о времени, черты которого она так просто-душно выражала.

В принадлежащей Дирикису типографии печатались латышские книги и брошюры, в магазине Дирикиса все это тут же и продавалось. Янису и покупать эти книги не надо было: только руку протянуть,

они все стояли в высоком застекленном шкафу, который не запирался.

Осенью Янис Плиекшан, только что скромно отметивший свое пятнадцатилетие, рассказывает в письме к Лизе, что решил вступить в некое Общество. «Здесь, в Риге, и в Елгаве старшекласники сходятся, чтобы изучать свой язык. Патроны — кое-кто из так называемых патриотов: старый Дирикис, Веберс и др. В Елгаве участвуют человек 20, в Риге сейчас всего 15. Цель свою Общество видит в том, чтобы читать по-латышски хорошие, дельные книги, учить грамматику и еще выполнять письменные работы. Сочинение все вместе обсуждают — если что не так, исправляют. В месяц нужно платить 15 коп., деньги идут на книги. Собираемся мы в доме Тидеманиса, иногда — Банькина, одного из наших. Вот в такое Общество я вступил, — если вы будете против, я в любой момент могу из него выйти, но надеюсь, что вы по доброте своей позволите мне это. Как члену Общества мне тоже нужно писать сочинение, да я не знаю, про что. Мой милый секретарь, помогавший мне уже в стольких делах, может, и на этот раз будет так добр и посоветует что-нибудь мне, бедняге. Может быть, написать про латышскую мифологию? Но я из нее так мало знаю, вот если бы ты мне про нее рассказала...»

Еще мальчик жаловался, между прочим, что патриот Дирикис регулярно вскрывает его письма. Оправдывается тем, что, мол, сверху на конверте стоит его, Дирикиса, имя. «Пишите мое имя сверху, а его — ниже, чтобы он больше не читал мои письма!»

Смеешься ты, что ли? — спрашивала в ответном письме Лизе. Ничего не знает она из латышской мифологии; узнавай и пиши сам. Общество — дело хорошее, и никто ничего запрещать не собирается.

В октябре докладывается: лучшие сочинения участников кружка будут рекомендованы к напечатанию в газете. Темы такие: отечественная история, обычаи и верования древних латышей, мифология.

Начиналась эта осень хорошо: главное, переезд был удачен. «Нашим пансионом мы оба совершенно довольны, — писал домой гимназист. — Мне особенно нравится старая хозяйка, она с нами разговаривает и обходится так по-дружески и хотя не называет нас своими сыновьями, а обращается так, как если бы мы ими были, и вообще не строит из себя важную барыню, как гордая Копровская. Ей нравится, когда на ее сердечность откликаются, и, может быть, потому она расположена ко мне больше, чем к Леону, тот не умеет к ней так скоро привыкнуть. Я же, напротив, стараюсь ей потрафить елико возможно — и, заметив, что она любит, когда ей ручку целуют, не забываю это делать».

«Старую хозяйку», тещу издателя, звали фрау фон Фалькен. Она происходила из старинного дворянского рода и любила принадлежащую к ее фамилии частицу «фон» не меньше, чем сам г. Дирикис любил свое звание гофрата.

Потом пошли неприятности.

В немецкой гимназии первый семестр начинался после Рождества, второй — осенью. По итогам семестра распределялись места в классе. Кто успевал лучше, тот садился ближе к учителю. Неуспевающие подпирали дальнюю стену.

На этот раз осенью в «терцию» пришло много новичков, так что в

классе оказалось 52 ученика. Вновь прибывшие рассаживались согласно результатам вступительных экзаменов, и вся прежняя «иерархия» оказалась разрушена. Янис, как и его друг Леон Дарашкевич, прежде шли если не во главе, то по крайней мере ближе к началу списка. Но теперь . . . «Я спокойно ждал конца квартала, — писал Янис родным, — не думал, что окажусь хоть на одно место ниже, но как начал падать, так и упал сразу на двенадцать мест! Из-за чего всё это вышло? Все несчастье, как и мне и Леону кажется (а он совсем убит: оказался на целых 16 мест ниже), вышло из-за этих проклятых н о в о п о с а ж е н н ы х (так их называет Леон). Это по их милости возвысились лодыри, которым по-настоящему надо бы сидеть в самом углу. Сам я, право, не знаю, есть ли тут моя вина? Учусь я так же, как в прошлое полугодие, даже и лучше, это отметки показывают. И что теперь делать?»

Все было бы не так страшно, будь тут задето всего лишь самолюбие гимназиста. Даже и несправедливость он, пожалуй, пережил бы, если она ненамеренна. Но тут впереди вырисовывалась новая опасность . . . «Хуже всего то, что меня, может быть, на Рождество не переведут в следующий класс, слишком уж далеко я теперь сижу, у меня 28-е место. Вот уж была бы беда, оставаться на второй год — дело скверное. Тогда нужно будет держать экзамены в секунду в губернской гимназии или выйти из гимназии вообще и потом в июне, на Янов день, снова поступать в секунду. Толком даже и не знаю, как мне быть тогда? . . .»

В Беркенеле ему, кажется, не поверили. Не переведут? С какой стати? Лизе намекала на его мнительность. Янис обижался. «Вы мне не верите, смеетесь, что я такой пугливый. То-то удивитесь, когда услышите на Рождество, что сынок ваш не перешел в следующий класс!» «В школе у меня всё по-прежнему, надеяться я надеюсь на многое, но веры что-то мало. Учителя пока что не сказали ничего нового, и вы про мою судьбу скоро будете знать больше, чем я сам: Дириикс вам все уже расскажет. Да и сам я могу сказать вам, что для меня настали не лучшие времена: такое наказание стоит у дверей, и ничем, ну ничем его не отвести . . .»

На чердаке дома в Беркенеле, том самом чердаке, где когда-то Янис зачитывался старыми немецкими книгами, через столетие с лишком я обнаружил выцарапанную чем-то острым возле слухового окна надпись: «Bēdīgs stāvoklis». Плачевное, отчаянное положение . . . Не могу утверждать, что сделана она рукой Яниса Плиекшана. Но если так, то, по моим прикидкам, сделать он это мог только в ту пору, в ближайший же приезд домой — опустошенный, беспомощный — как жук, перевернутый на спину.

Чтобы беда гимназиста не показалась мелкой, нужно попытаться встать на его место (покинув для этого своё). Оказавшись вдали от родных, в чужом городе — кто он? Кому нужен в мире, на что способен? Это все решалось в общении и состязании с ровесниками, в гимназии. Не удивительно, что свет клином сошелся для него на вопросе: переведут в «секунду» или не переведут?

С малолетства в нем жила веселая вера в себя, доверие к миру. Первая трещина относится к давнишней истории с разбитым стеклом, но теперешний удар не был легче. Как и тогда, он не чувствовал за собой вины. Только уже не Лизе, а чужая безличная сила тучей шла на него.

Он не только за себя отвечал. Он был первый в роду, выбившийся с помощью семьи к совсем новым светам. К явлениям, бывшим вне досягаемости отцов и дедов: нельзя же не видеть, что «Царь Эдип» Софокла на древнегреческом языке даже и для высокого, деятельного Кришьяниса Плиекшана — ультразвук, нечто, находящееся за пределами слышимости.

И, конечно, ему приходилось доказывать каждодневно и ежедневно право всего своего рода, право и способность понимать Софокла, Овидия, Шекспира, Гете, вообще право свое затесаться вот так в среду полноправных наследников всечеловеческой культуры и с ними наравне что-то там впитывать, осмысливать, подхватывать и нести дальше.

Не то чтобы враги и притеснители — нет, вполне гуманные, исполненные сочувствия европейцы порекомендовали бы всем Плиекшанам, настоящим и будущим, что-нибудь полегче. Что-нибудь такое, что соразмерно было бы их реальным возможностям, не ставило бы их в положение ложное и потому опасное для их же собственного блага.

Нужно было доказать. Он не один доказывал, но все-таки и много их не было: считанные десятки, сотня. И то спасибо: в предыдущих поколениях счет шел на единицы.

И мало было показать, что он может что-то там постигать не хуже немцев-одноклассников. «Не хуже» — это и случайность может быть, и подражание, талант обезьяний. Ему надлежало выделиться, другого выхода не было. Ах, вы не хотите принимать меня всерьез? Придется.

За ходом этой борьбы наблюдало множество глаз. Кто равнодушен к успехам и неудачам своих детей? К их — не дай бог! — поражениям? И, что уж говорить, Плиекшаны, и не только они, а всё окружение, их знакомые и знакомые знакомых, и те, что выше стояли на общественной лестнице, и те, что ниже, — все смотрели на юного гимназиста, все ожидали, что выйдет из него, да и выйдет ли что.

Там, в Земгальской Гриве, он заставил недоброжелателей прикусить языки. Старый Плиекшан мог поглядывать на соседей, на арендаторов и даже на окрестных помещиков победоносно. В 1878 году на выставке в Гриве он получил высшую награду — серебряную медаль — за прекрасные стати выращенной на его конюшне гнедой кобылы. (Дарта, жена, и старшая дочь Лизе тоже участвовали тогда в выставке — как рукодельницы; тоже и они привезли домой в Беркенеле бронзовую медаль: домотканые покрывала, а в особенности вязание дочери, имели успех.) Но то, что наследник старого арендатора, латыш Янис Кришьянис Плиекшан первым номером закончил школу в Земгальской Гриве, обставив немцев-сверстников, — это было почище любых других побед; даже и несравненные стати гнедой кобылы меркли перед этим.

И вот в Риге — еще и года не прошло со дня поступления в гимназию — такая осечка! Поверили в Беркенеле, что мальчик не виноват в неудаче? Может, и поверили. Но они, как и сам Янис, ждали не поражения.

Положим, у всех хватало и своих забот. Успехи гимназиста в Риге пригодились бы, прибавили света, но они все-таки не так много решали, как, наверное, казалось Янису. Ему чудилось, что он обманул все надежды, что вся Грива знает о его поражении и только

о том и судачит . . . Рушится на тебя кровля — попробуй в пятнадцать лет отделаться от чувства, что и небо рушится.

Ну что ж, теперь пыль разошлась, нужно начинать жить на развалинах. Янис хотя и писал родным о своей «маленькой беде», но за два-три месяца, пока тянулось и решалось дело, не раз доходил до отчаяния.

Если посмотреть на те же события спокойно и трезво, то ведь Плиекшан-младший, можно сказать, ничего существенного не потерял. Ну, пробудет он в «терции» вместо года—полтора, зато лишний семестр даст ему время для чтения, для одинокой работы самостоятельного. В новом составе класса он, знающий заранее весь изучаемый материал, выходит в лидеры, не прилагая к тому никаких новых усилий. Так?

Так да не так. Потеряна — притом навсегда — беззаботность, уверенность в себе; то, что французы называют *кураж*. С этого времени вчерашний розовощекий выдумщик и озорник становится недоверчивей, замкнутей; он весь состоит из сомнений. Еще недавно он чувствовал себя чуть ли не всеобщим любимцем, — теперь он и сам-то себя не любил и не знал, за что можно любить себя.

Тут-то и подстерегала его жестокая каверза природы, заставляющей в этом возрасте с неотступной силой желать того, о чем он не смел до конца и подумать. Повторение может показаться назойливым, но куда мы не выйдем из этого времени, драма повзросления останется движителем сюжета, хотим мы этого или не хотим.

Презирая себя за неправильные, грешные желания и мечты, вспыхивавшие в нем помимо воли и вопреки ей, Янис не мог не думать о Боге. Он рос верующим. Но теперь не хотел и не мог верить не рассуждая. Оторвать веру от воли и разума он не согласился бы. Притом, вслед за матерью-крестьянкой, он видел в вере прежде всего договор с высшей силой о добре и зле, о том, что можно и чего нельзя. Самое простое — соблюдение десяти библейских заповедей — уже давало жизни основу, а проповедь любви и милосердия, пронизавшая Евангелие, обещала и большее.

Теперь Бог отступился от него. В испытаниях, терзавших душу и тело Яниса, молитва не помогала, и поделиться горем нельзя было ни с кем. Где искать ответы на то, что его мучит? Конечно, в Библии!

И вот он штудирует всё-всё, начиная с сотворения мира, с Адама и Евы; глотает страницы боговдохновенной книги с каким-то жадным неистовством, ища немедленных, прямо к нему относящихся, разумных указаний, обещаний, решений. Да нет, не так даже, — откровения он ждет, немедленного и неоспоримого, света истины. Но коли не будет его . . . Сердцем, напрягшимся, точно кулачок, грозит он: смотри, Боже! Не будет откровения, пеняй тогда на себя: не станет и веры. Я себя разлюбил — разлюблю и Тебя, в себе разуверился — и в Тебе разуверюсь.

С категоричностью, обычной для пятнадцати лет, он назначил сам себя судьей — и вот, сейчас и здесь, примет решение, не подлежащее пересмотру. Погодите, еще сто страниц . . . еще тридцать . . . и он окончательно будет знать, есть Бог или нет (тогда можно и с маленькой буквы!) бога. Сбились на небеси, трепещут, ожидая его

приговора, ангелы божьи, пророки и праведники, апостолы: и свя-
тые . . .

«Примерно к 15 годам мальчик взялся читать Библию, прочел ее всю, от корки до корки, пережил глубокий духовный переворот и сделался совершенным атеистом», — пишет А. Биркертс. (Насчет «сделался атеистом» — не более чем распространенное заблуждение. Сделался он безбожником, перестал быть верующим христианином. Атеистом, строго говоря, Райнис не будет никогда.)

Был ли пятнадцатилетний судья правомочен принимать столь грандиозные решения? Как знать. Нас он об этом не спросит. Только единственное я прошу учесть: что это отречение было результатом одиночества и самого настоящего отчаяния.

Он очень чувствителен к погодам. «Здесь, в Риге, так же как у вас, погода плохая и переменчивая: то дождь, то снег, то, смотришь, опять подморозило; то так повернет погода, то эдак. Как-то — думаю, было это в четверг — под вечер опустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было разглядеть, кто там перед тобой — человек, лошадь или еще кто».

Еще чувствительней он к тому, как к нему относятся окружающие. В классе с ним вместе учится еще один приятель прежних лет Альберт Титовский. Янису кажется, что тот заважничал: «Мой старый друг господин Титовский нас бедных вовсе не замечает, так что от самого Николы до нынешнего дня ни полсловечком с ним не обменялись. При встрече господин мой теперь и не думает отвечать, когда я пытаюсь руку протянуть или поклониться. Ну, на это сердиться никак нельзя, он теперь сделался важным барином, — такой благородный и взрослый совсем, не нам, бедным детям, чета; да и сидит он повыше».

Титовского также не перевели зимой в следующий класс. Теперь, в новом семестре, места распределились в классе по-новому, Янис оказался пятым номером, Титовский — третьим. «Слава Богу, который нашему старому-престарому другу и недавнему приятелю смягчил сердце, так что теперь он нас бедных не так презирает и даже снисходит до того, чтобы говорить с нами или, лучше сказать, не считает ниже своего достоинства при случае кинуть нам словечко. Не в наших слабых силах отплатить ему за столь великое одолжение и высочайшую милость, но это ему зачтется — ведь всякое благое дело приносит благие плоды».

«Мой старинный и самый-самый большой друг г. Титовский очень непостоянен (нет-нет, он прекрасный человек и бóльший политик, чем сам Бисмарк). Слушайте, слушайте, разевайте рты и уши: в первый день сей великий муж слегка скривился, глядя на нас . . . нет, на меня, мужика, баура¹, посмевшего ему чуть ли не сесть на шею, — но все-таки он совладал с собой, стиснул зубы и учтиво подал мне руку, и поговорил; всю неделю потом подавал руку; во вторую неделю уже не разговаривал, но руку все еще подавал, на третью . . . Ну на третью неделю уже и руки не подавал, а так только, протягивал пару пальцев, когда уж твоя рука совсем близко. Поглядим, что будет в четвертую неделю . . .»

В кружке (который он громко именовал Обществом) Янис пишет

¹ Крестьянина (искаженный нем.).

сочинение . . . Нужно бы выделить его название особенным каким-то шрифтом, ну вот таким хотя бы, чтоб не забылось:

LATVIEŠI UN VĀCIEŠI —

«Латыши и немцы» — вот какова была тема первого внешкольного, самостоятельного сочинения Яниса Пликшана.

Для него — вопрос каждого гимназического дня: латыши и немцы. Стержневая проблема семисотлетней истории. Всегдашняя забота отца.

В 1905 году грозно выгянет из-за букв голая суть давней темы, и в 1919 он будет мучим ею.

Никто не скажет, что писал Райнис в шестнадцать лет на листках своего первого свободного сочинения: оно не сохранилось. Можно только предполагать, что и тогда оно не было выраженьем только противостояния, только долгой вражды. Ведь излагать свои мысли по-латышски Янис лишь начинал в ту пору, а главная работа тех лет — ученье — требовала немецкого склада вопросов и ответов. Не мог же он все слышанное и читаемое переводить мысленно на родной язык, — то была бы лишняя, ненужная деятельность; нет, приходилось думать и решать по-немецки, и занимало это по крайней мере половину тогдашнего времени.

Половину осознанных, облеченных в слова мыслей.

Утешение в том, что вся вместе часть сознания, облеченная в слова, — только тоненький слой, поверхность происходящего в человеке, точно гибкий молодой, то и дело ломающийся ледок на волне и на всей водной глыбе, пульсирующей и живой. Там-то, на той глубине не оставалось в нем ничего немецкого: это доказала потом чуть ли не каждая строчка его стихов и драм; даже по-немецки он будет сочинять не немецкие, а латышские строчки!

Каждый день и почти каждый час его глубинная суть осязалась множеством внимательных взглядов, прикосновениями чужих воль, любопытств, удивлений, усиками чьей-то заведомой вражды ощупывалась; отдергивались эти бесцеремонные усики — являлась откуда-то некая обволакивающая доброжелательность; из-за угла вырывалась, шла напролом чья-то бессмысленная внешне, но целеустремленная злоба; в отличие от доброты, она знала всегда, чего хочет, чего терпеть не желает.

На доброту и на злобу, на честный привет и на ускользящий намек, на вызовы каждой наступающей минуты должна была отвечать именно его латышскость: просто мальчик, просто «молодой человек» он был только для совершенно посторонних, для прохожих, чьи пути с его дорогой не пересекались, расходились тут же и навсегда. Но стоило вступить в любые, все равно какие отношения с людьми или даже предметами, как становилось не все равно, кто ты, какого роду и племени, чей ты сын. И тем, кто делал вид, что это для них неважно, и им тоже не было все равно, не было, — он мог бы поклясться.

Случалось, он опаздывал, не давал вовремя понять собеседнику, кто он, — и тут уж был повод для ошибки, для известного разочарования, охлаждения . . . но не обязательно: встречались реакции и неожиданные. Русский мог прийти и в восторг от его немецкой

образованности и от сочетания ее с немецким происхождением. В эстонце вдруг угадывалось свечение тайной близости, не названного по имени братства. В поляке чуть заметно прибавлялось важности, в литовце — сдержанного холодноватого тепла.

Но опаздывать он как раз не любил и в особенности заботился об этом при знакомстве с немцем или немкою: нельзя было дать принять себя за своего. Самолюбие, чувство самосохранения предостерегали от подобных недоразумений: уж больно все-таки вытягивались лица в момент уяснения допущенной оплошки — всего лишь на долю секунды, но этого хватало. Нужно было уберечь собеседников от выказываний, какие делаются между своими деловито и беззлобно и которые, однако, не могут быть сделаны, если известно, кто ты. Притом не грубые и откровенные господа старой закалки беспокоили его наиболее, а как раз либеральные и сочувствующие, входящие в твое положение и благоволящие, — если они знают; по незнанию же они могли обронить и совсем даже невежливое, беспощадное словцо, которого тем более конфузились потом, что взять его обратно оказывалось ну никак невозможно. Бывало, что от этого сознания невозможности поправиться человек вполне образованный и прогрессивный делался как-то даже грубее и откровеннее откровенных; впрочем же более всего он желал после этого с тобою расстаться и уж никогда не видеть тебя впредь, — но не всегда это оказывалось возможным.

Наверное, случалось ему ощущать и ущербность: ведь в ранние свои годы не может человек бесчувственно перенести, что он «не такой, как все». Уже в немецкой школе в Земгальской Гриве это должно было случаться, — и в конце концов приходилось ответить на повторяющиеся раздражения долгим, то есть вперед годящимся, не однократным решением.

И вот к чему пришел Янис: он не соглашался быть «как все». Он другой и хочет быть другим. Вот пришли бы к нему длинной вереницей все, все, во главе с старым Вельцером, встали бы на колени и начали молить: будь с нами, родись еще раз — заново, дворянином и немцем, хочешь — бароном, рыцарем, отпрыском самой знатной из здешних фамилий? «Нет! — гордо ответил бы он Вельцеру и всем остальным, — нет, нет и нет! И не просите, встаньте с ваших немецких колен. Я латыш и сын латыша — того, что перерос ваших отцов ровно на голову; я не знаю, отчего он такой высокий, но мне это нравится. Если некоторые из вас сумеют вести себя хорошо — что ж, тогда я, быть может, предложу кому-то из вас родиться еще раз, заново, уже латышом. Не считаете ли вы, что крестьянином быть легче, чем дворянским сыном? Что там баричу? — с пеленок кричи: того хочу, этого не хочу. Ты вот родись в крестьянской избе и стань человеком!» — и, мстительно поглядывая на своих одноклассников, Янис уже прикидывал, из кого мог бы получиться настоящий латыш; не из многих он получался, нет, не из многих.

Каждый высокомерный взгляд, каждое недоброе слово, задевавшее, хотя бы ненамеренно, его язык и род, делало его как бы еще больше латышом: при каждой такой обиде невидимо вставали за плечами родичи близкие и дальние, мертвые и еще не родившиеся, дышали, иногда не в такт его дыханию, ждали, что он подумает, как поступит. Он очень отличал этого рода обиды от других, обыкновенных, касающихся только его самого.

Правда, не каждый же день задевалось в нем это чувство! Чем реже задевалось, тем проще и веселее было ему с людьми. И тут верилось даже, что он не одних латышей — он и высоколобых немцев наследник, и славян, и быть может, австралийских аборигенов — с их наготой; с бумерангом, выдуманным при посредстве как-то иначе устроенного и повернутого ума.

Смерть («казнь», как предпочитали говорить революционеры) императора Александра II в письмах гимназиста не упомянута. Позднее в одном письме говорится только о приезде в Ригу нового наследника престола. То был Николай — в будущем, не таком уж далеком, последний русский царь, в свою очередь обреченный насильственной смерти вместе с женой, сыном, дочерью, вместе с несколькими приближенными, которые его не оставят.

Жизнь, на время соединившая в себе и оцепенение и погромы, сорвавшаяся вообще как-то плашмя и наперекосяк, точно дверь, висевшая на одной, последней петле и болтающаяся туда-сюда безо всякого смысла, не могла долго оставаться в таком положении. О дальнейших последствиях цареубийства не каждый задумывался, а близкие и задевали тех, кто был ближе: наверху буря, а внизу уже продолжились вчерашние хлопоты; куда ты денешься — жить надо.

Хозяйка Беркенеле решила прежде срока прервать договор об аренде: дерзость Плиекшана, этого длинного латыша, его непомерные амбиции всем осточертели. Так и было сказано настоящим хозяином Беркенеле; мол, даже и за слово грубоватое не хочется извиняться перед дамами, ибо что есть то есть: осточертело! Унтиновский, писарь, давно уже просил Беркенеле; зря мы ему тогда отказали! А этот вздорный латышский Ротшильд, — да точно ли он так богат, как рассказывают? — пускай поищет себе другое пристанище.

Так-то: искать новый дом приходилось спешно, а спешка в таких делах как раз нежелательна. И с первой же попытки — сердце словно чужло! — осечка. Некий Евстафий Жаба уже получил за продаваемое К. Плиекшану владение, Эзермуйжу, задаток: шесть тысяч рублей. И документы были оформлены, как вдруг — нá тебе! — земельный банк в Вильне отменяет сделку, объявляет недействительной. Усадьба, оказывается, давным-давно заложена. Мало и этого: стороной Плиекшан-старший узнает, что эту же самую Эзермуйжу тот же самый Жаба тайком пытается всучить еще одному покупателю! Ну, Жаба, ну, мошенник, я тебя засужу!

И началась долгая, многолетняя тяжба. Не повезло с двумя нанятыми адвокатами, позже в Санкт-Петербург пришлось ехать, нанимать третьего, чтобы тот начал процесс против первых двух. Немудрено, что в очередном письме гимназиста вырвалось: «Когда уж он кончится, этот проклятый процесс!» Янис волнуется за отца, негодует и надеется. Беспокоит его и самый простой вопрос: куда ему ехать на каникулы? Где будет новый дом? Он выспрашивает: что вы там нашли? А будет ли рядом с домом речка, притом достаточно широкая? Если нет — не пытайтесь мне нахваливать «новую родину», мне там не понравится. «Во всяком случае, поначалу, — добавляет он примирительно, — потом как-нибудь постараюсь полюбить новые места». А что ж ему еще оставалось?!

В 1881 году впервые выплескивается наружу вся та тревога, что давно уже сжигала Яниса; прежде ему, кажется, удавалось скрывать ее от домашних, а тут не смог. Душа его, выпрастывавшаяся из пелен от-

рочества, рождалась сызнова, как бабочка из туго свернутой куколки; неизвестно, такое ли мучение испытывает эта последняя, так же ли болезненно высвобождение скомканных, никогда не пробованных крыл?

Поводом послужили самые обычные укоризны родных: почему он ленится, отчего не пишет так долго? В ответ — целый шквал самообвинений: «Горькие слова вы находите, метко попадаете, больно раните, но и этого мало для меня... Виноват, виноват я, дурачок, — раньше я как малый ребенок злился, когда вы неделями не писали, а теперь вот сам молчу месяцами. Теперь-то вижу, что я наделал: сердце вот-вот разорвется, и змея неумолимая, сознание преступления, впивается ужасно и жалом и зубами; молю о прощении и отчаиваюсь. Дурень, что ж теперь плакать как дитя малое и выть, о чем ты раньше думал? Что ты теперь мечешь слова как горох, никто тебе теперь не поверит: все знают, как «горячо» ты любишь своих.

Путанные, невнятные, бессвязные мысли, — только в такой чересчур умной башке они и могут рождаться. Что вы, что — любой другой может подумать про подобное письмо? Каждый головой покачает и спросит: почему он не сидит давно уже в сумасшедшем доме? Лучшее бы вам и вовсе не читать этого письма, много вы из него не вычитаете. Может быть, я не так понял вас? Может, так уж плохо вы обо мне и не думали, а я сгоряча такую чепуху порю? Так всегда и бывает, кто сам виноват, от других ждет только худа.

Простите еще раз. А если это уже невозможно? Может быть, я слишком вас рассердил, сделался вам чужим? Простите — если, конечно, злая трещина — следствие моей глупости и легкомыслия — не так широко разошлась, что уже и заделать нельзя... Не забывайте своего сына, недавно еще вам дорогого. Я хотел бы и дальше вас любить, и не думайте, что я забыл вас хоть на миг, только вот тучи какие-то затмили нам небо».

Порядком же испугал Янис своих родных: потом пришлось мясц целый успокаивать их.

«Рига, 15 ноября 1881 года.

Милые, милые родные! Не горюйте, не плачьте больше, я вас не хочу и не хотел никогда и не думал так огорчить, и не беспокойтесь так и не упрекайте себя, теперь у меня все хорошо, вы напрасно надрываете себе душу, и я тоже ничему не могу радоваться, видя, как вы себя мучаете. Забудьте, что я вам тогда написал, и я попробую сделать то же самое, если получится».

«Рига, 1 декабря 1881.

Милые родные! Ох, тяжело, тяжело я вас огорчил, еще и теперь холод по спине, как вспомню, что милая моя матушка рыдала из-за меня, — и у самого слезы сыплются из глаз как горошины, и так совестно потом, когда спросит кто-нибудь, почему у тебя глаза красные. Но вы ведь простите меня? не будете плакать больше? Тогда я тоже повеселею...»

Кажется, и повеселел. Рассказывает оживленно о том, что получил, притом бесплатно, не истратив ни копейки! — билет большого, взрослого Латышского общества, и по этому билету можно проходить на все «балы», вечера вопросов и ответов. Он уже был на одном

таким вечере, а сейчас собирается на следующий: «Только костюм почищу и причешусь».

У него снова зубы болят. Долго болят, не проходят, хотя Янис и уверяет, что в этих случаях терпение лучше всех врачей. Кажется, гимназист опять провинился, опять редко пишет домой, но на этот раз не спешит обвинить себя. Хитрит: «Если я не пишу вам, это верный знак, что я здоров, а вот если пишу — вполне может случиться, что, рассказав про то про се, я уже и не знаю, что добавить; из-за недостатка новостей возьму да напишу, что, мол, болен. Вот и сегодня мог бы вам рассказать, что зубы ужасно болят, но вам вовсе не нужно НЕПРЕМЕННО этому верить». Слово «непременно» написано по-русски. Ему вообще нравится вставлять в латышский текст латинское, немецкое, польское, русское словцо или выражение. «Хожу ли я в Общество? А как же? Каждую пятницу, как штык, в большом зале. Только на праздник не был, боялся напустить на других зубную боль, которая терзала меня так безжалостно долго, что ей и самой, кажется, надоело».

Зубная боль — переживание, согласимся, не из приятных, — судя по тону, для него вдесятеро легче, чем непонятная и неотвратимая душевная мука, подступающая снова и снова. Когда тебе просто больно — спасает природженный юмор, терпение; самолюбие не позволяет раскиснуть. А с той, другой болью всякая защита бессильна: как обороняться от себя самого?

Нет, нельзя было открываться Лизе, родителям, вон как они всполошились: не впрямь ли подумали, что он спятил? Что ж, иной раз кажется, что и до этого недалеко. Кого позвать на помощь? Кому исповедаться? Если бы Дора не была так мала! Вот кого он любит всем сердцем, спокойно, радостно, не боясь ни малейшего подвоха, — и ответная радость, ответное доверие лучится навстречу. «Мое маленькое второе “я”», — проговорился он как-то в письме Лизе. Скорей бы Дора вырастала! Нет, смешно: она ведь девочка, ей не все можно будет сказать и через десять лет, и через двадцать. Другу исповедаться? Леон и без того видит и знает много. Хотя никогда не поймешь до конца, как ты выглядишь в чужих глазах: ведь другим виднее мелочи. Например, что зубы у тебя опять разболелись. Умри в это время от всего, что тебя терзает, а Леон и старая хозяйка или сам господин гофрат скажут с легким сочувствием: «Бедняга! Так мучиться... нужно все-таки отвести его к дантисту».

Он пишет другому старому товарищу, Бернхарду Моору.

«Рига, 7 марта 1882 года.

Дорогой Бернхард, не сердись, что пристаю снова со своими бедами после того, как уже добрый час досаждал разговорами. Но твоему старому другу довольно паскудно, его милейшее «я» и вся его нынешняя жизнь для него не только скучна, а прямо-таки непереносима. И вот, не зная, где еще искать совета, решаюсь затруднить тебя. Конечно, штука не из приятных — зачитать кому-то полный список своих грехов, а сделать это придется, чтобы ты мог судить обо всем и дать совет. Есть тут опасность — показать другому все свои слабые места и дать слишком большую власть над собой, да и можно быть понятым неверно. Не обидься, не прими это за недоверие к себе. Нет, но мне боязно, что ты мои чистосердечные признания можешь не

так понять или, осудив мои дурные стороны, посчитать меня недостойным твоей дружбы. Или, наконец, ты можешь решить, что я принижаю себя излишней откровенностью. Но у друга есть право, даже обязанность открыть себя другому. Между настоящими друзьями, так же как между влюбленными, не должно быть тайн: что же это были бы за друзья, если бы они не знали дурные стороны друг друга, не говоря уже о хороших . . .

Ты, наверно, уже раньше заметил, что я на людях очень неразговорчив и замкнут, стесняюсь всех, и что мне нравится сидеть дома. В недоверии к людям я зашел уже так далеко, что дрожу и заикаюсь, когда меня вызывают в классе, не могу общаться с посторонними, не умею завязать знакомство, не говоря уж о том, чтобы с кем-то сойтись ближе. Да, это все смешно, но тут мой ад и погибель. Сейчас я стал еще замкнутей: мне нужно принуждать себя выйти на улицу, я крадусь туда, точно преступник. Лучше всего мне тогда, когда в комнате нет Дарашкевича, моего единственного соседа, — тогда можно без помех предаться фантазиям. Вдобавок — непобедимое равнодушие ко всему. Школьные работы я вот уже два семестра выполняю абы как . . . »

Письмо оборвано на полуслове. Было ли оно послано? Неизвестно. Мы его получили, это письмо, — читаем, сочувствуем, не зная, что делать с запоздавшими на столетие признаниями.

Нет, знаем, разве что ленимся: спокойней не знать. Спокойней не думать, что в каждом встречном подростке могут бушевать те же бури; так же мало он может довериться оружающим, так же неоткуда ему ждать защиты и поддержки. А что же сделать можно? Ну . . . хотя бы возможность веры и действия, выбора и выхода была оставлена каждому в переломное время; хотя бы жестокость и равнодушие близких не усмехались растерянному мальчику прямо в лицо. От безлужья человек, еще не успевший встать на ноги, поскользывается и падает, тянет на себя всю синь небесного склона, как неловкий гость — скатерть со всем, что на ней. А уж там пеняйте на себя, когда годков через пять встретите в темном переулке брата по разуму с пустым и наглым взглядом, с синей наколкой на руке, с десятью словами в запасе, — а лучше бы он и их не имел. Никто не сосчитал еще, для скольких переломный возраст сделался временем слома.

Янис отыскал выход сам, но полностью преодолеть юношеский кризис не сумел ни тогда, ни позже. Недоверие к себе, самообвинения, приступы депрессии будут повторяться.

В конце марта 1882 года, перед Пасхой, Янис Плиекшан завел дневник. Одна из первых записей была продолжением объяснения с другом Бернхардом. Новому другу, дневнику, можно было рассказать больше. Он над тобой не посмеется, не употребит во зло оказанное доверие.

Сперва он припоминает прежние дни. «Мир казался не то что безоблачным, но и не закутанным в серое. Все в нем оказывалось радостным ровно настолько, насколько радостен был я сам. Если сталкивался с чужой бедой — чувство сострадания вступало в силу, сам я при этом не слишком сокрушался. Я чувствовал, что я в согласии с жизнью, что исполняю свой долг, был в мире с собой и со всем, что

(Продолжение на с. 34)

КРЕСТЫ НАД ДОМОМ ЗНАНИЙ (см. с. 123)





меня окружало. Я был волен поступать, как мне нравится, и закон мне не мешал, потому что я исполнял его. Я мог достичь всего, чего хотел, а хотел именно того, что было для меня достижимо. (Я был в согласии и с моим Богом. Временами я верил и Богу всех христиан, а обо всем, что разделяло меня и Бога, в то время еще не думал.)

Но это благодушное (и больше того) счастливое состояние не длилось долго. Погруженный в свои мысли, в свое счастье, я и не заметил, как забрел в глубокую трясиину . . . Я вздрогнул и огляделся вокруг: там и сям в небесах обозначились темные пятна, то была моя совесть. Судорожно пытался я возвратиться в прежний счастливый сон, но все сильнее становились удары. Снова очнувшись, я раскрыл глаза и увидел, что увяз по самую шею в болотной жиже. Теперь с широко открытыми глазами, бледный, оцепеневший от ужаса, я вижу себя лежащим посреди отвратительного болота. И так как я не заметил, как постепенно шел к гибели, она мне казалась еще страшней, еще необъяснимее.

Уважение окружающих обращалось в насмешку и презрение, отовсюду выглядывали злобные карикатуры; черепа мертвецов без стеснения выказывали мне свои голые кости, и чудилось, что отовсюду раздаются: «Жалкий дурачок, ты воображал, ты равен достойнейшим, ты мыслил, негодник, так высоко взлететь — потому и валяйся в грязи, и пусть яд змеинный сочтется на твою голову». И страшный гром раздался, способный, кажется, погубить одним своим звуком; я услышал обо всех своих слабостях, мне указаны были все мои грехи, не заслуживающие ни малейшего снисхождения. Я не осмеливаюсь надеяться на прощение перед лицом даже и не Бога, а других людей . . . Мне кажется нечестным теперь, когда я несчастен, признать Бога, которого я прежде отрицал, и я этого не сделаю. Но и последнее похоже на пустую похвальбу. Разве можешь ты, ничтожный, отрицать Бога? Разве можешь оттолкнуть Его милосердие? . . . »

Эта мысль шестнадцатилетнего мальчика — что бесчестно было бы признать в несчастии Бога, отринутого в лучшие времена, — не есть ли первая победа, одержанная Райнисом? И тем более дорога она, что не была замечена путником: он даже и не приостановился.

И второй раз спрощу: какой же он атеист?

И еще: как не вспомнить, читая этот дневник, что его автор прилежно читал немецких романтиков? Но улыбка, тронувшая ваши губы при этом наблюдении, не должна застревать надолго. Язык, которым изъясняется наш герой, может и показаться знакомым, но боль-то взаимная, своя, назаемная, как не услышать этого.

Есть недостаток у любого книжного повествования — коренной, врожденный. Дни и происшествия выстраиваются в цепь, дышат в затылок друг другу. Все наши ухищрения: «А в это время на другом конце города . . . », «А между тем соперник нашего героя . . . » и т. п.; забегаания вперед и возвращения вспять, выхватывание событий из конца или середины — не позволяют до конца избавиться от линейности всякого рассказа. Сперва об одном, потом о другом и третьем, а вот обо всем одновременно сказать никому не удавалось. В реальности же — как в музыке — звучат, живут одновременно многие голоса; как в сложной полифонической партитуре, голоса сходятся и расходятся, спорят и убеждают друг друга, поворачиваются один к другому спиной, бросаются в объятия, сливаются, — и улич-

ные шумы, клаксоны автомобилей, голоса бранящихся в коридоре уборщиц дополняют и нарушают расчерченную кем-то гармонию.

Но и музыка протянута во времени, такт за тактом, и строги ее рамки, отделяющие упорядоченный мир звучаний от наружного хаоса.

А живая жизнь с этим хаосом сращена, из него вырастает. Живой человек и смотрит на небеса, и мелодию какую-то мурлычет, и заходит куда-то испустить тугую и звонкую струйку, и отсылает мальчишкам подкатившийся к ногам случайный мячик, и уговаривает свой зуб не болеть, и вспоминает латинские глаголы, и воображает себе девичьи полураскрытые губы, и страдает за униженное отечество, и думает о здоровье маменьки, и отвечает на чью-то шутку, радуясь меткости своей нечаянной реплики, — и все это чуть ли не одновременно, в пространстве минут, сжатых и беспредельных, если в них вслушаться и взглядеться, ничего не упуская.

Гимназические годы Яниса, от четырнадцати с половиною до восемнадцати, и нужны бы нам не в унылой последовательности, не расписанные по датам. Сколько там — тысячи полторы суток? — все дни и ночи, отличавшиеся друг от друга, как травы на богатом заливном лугу . . . Сгрести их, как травы, воедино, сметать в громадный стог, подавая охапки наверх, кому-то там, кто обязательно подхватит, уложит, умнет, разровняет. И мириады травинков, стебельков, цветочных головок, слитые воедино, покажутся на вечернем небе подобием средневековой башни, а все их запахи сольются в тот пьянящий дух, которого пробовавший не спутает ни с чем, а не пробовавший, не знавший . . . Ну, этому и не объяснишь ничего.

Грех тут не вспомнить, что он не меньше древних языков, истории и литературы любил ботанику. Собирать, классифицировать растения, усваивать навсегда их латинские имена, устройство цветка, разрез листьев. Цветки засушивались в альбоме, в любимой книге — между страниц. Книга и некошенный луг соединялись.

Произведем подобные действия, обратные обещанным. Разложим по полочкам, классифицируем, засушим на память. Гимназист Иоганн Плекшан в описываемые времена ежедневно решал для себя следующие загадки, — пойдем до конца, пронумеруем их, произведем хотя бы поверхностную инвентаризацию.

1. Бог.

(Есть Бог или нет Бога? Как мы знаем, Янис решил, что нет, — но загадка не желала признавать себя решенной, и «несуществующий» Бог занимал его ничуть не меньше, чем прежде.)

2. Мыл жизни: и жизни вообще, и его отдельной жизни, в частности.

3. Любовь. (Что она такое, и полюбят ли его, кто и когда? И можно ли любить его, особенно если знать о скомканных простынях, о которых должны быть осведомлены прислуга и прачка; может быть, они судачат об этом между собой произительными, привычными к полю крестьянскими голосами? — нет, не хотелось допускать этого даже в мыслях.)

4. Пол. Превращение из отрока в юношу — об этом сказано. И рядом с собственной неразрешимой загадкой — дразнящая тайна девушки, женщины: что она есть? Совсе другое существо, другая разновидность жизни? Лагуба, соблазн? Обетование и радость? (Вопрос этот почему-то вовсе не касался матери и сестер, а касался всех других.)

5. Дружба.

(Что она такое: любовь, освобожденная от греха, или нечто новое и другое? Довериться ли другому полностью или это опасно и ты, быть может, подставляешь себя под страшный удар? Кто должен главенствовать в дружбе, кто подчиняться? А если дружба предполагает равенство, то как не нарушить его, если один из вас все-таки выше, а другой ниже? И не так ли в любви?)

6. Отчизна. Род. Язык.

(Как почувствовать отечество своим, когда им правят чужие? Как освободить свой народ от векового заклятья, преодолеть пренебрежение глядящих на него сверху, недоверие латышей к самим себе? Как выпрямиться самому и выпрямить тех, кто не разгибался ни разу от рождения? Почему так неравно распределены свобода и счастье, почему одни копошатся внизу, в убожестве и грязи, обреченные служить чьим-то прихотям, а другие повелевают? И мысль о переледе земли и небес являлась почти сама собой, и загоралась кровь предощущением бунта.)

7. Призвание: кто он? Для чего родился?

8. Судьба. Ты решаешь или все решено заранее, задолго до тебя?

9. Смерть.

(Случайная, нелепая, или смерть героя, восставшего против всех несправедливостей жизни, или смерть Ромео. Или, если нет выходов, а загадки не имеют решения — самоуничтожение?)

А теперь всё со всех полок, названных и неназванных, скинуть и перемешать, да так, чтобы всё во всё проникло, сделалось содержанием чуть не каждой минуты. Где его взять, такой миг, когда ничто не менялось бы в его тканях, в мозгу и сердце, в гортани и жёлеззах, когда его память оказалась бы свободной от прочитанного накануне «Фауста», когда бы не жили в нем, затаившись, слова десяти языков, живых и мертвых, материнские песни, стыдные желания и несбыточные мечты? И всё это с неодинаковой скоростью, точно колесики и шестеренки часового механизма, движется, сцепленное друг с другом и с гигантским маховиком времени, может быть, равновеликим Вселенной; ничто ни от чего не оторвать, и не пробуй.

Он беспрестанно обвиняет себя в лени, а сам работает безостановочно, как сердце. Идет работа самоопределения, определения своего места среди ровесников и взрослых; поглощается фантастическое количество сведений, новостей. Выработка ответов на бесчисленные вызовы жизни и выработка самого механизма этих ответов: характера.

Интенсивность физического и духовного роста такова, что ни в каком другом возрасте ее нельзя было бы выдержать. И при всей пружинистой гибкости его тела и души все-таки видно, что где-то тут, рядом, предел возможного, опасный предел.

Читать дневники Райниса этого времени мучительно, порой физически трудно, — берешь передышку, чтобы избавиться от зрелища мук, которые ты облегчить не в силах. И все-таки нельзя отвернуться и поискать эпизод посветлее, нельзя пропустить и эту черную воронку, захватывавшую и тащившую шестнадцати-семнадцатилетнего мальчика ко дну. Потому что от этого дна, от самого низа ямы нужно исчислять расстояние, которое он преодолевает, а другая точка отсчета вела бы к заведомой, грубой ошибке.

«Зачем я все время сам себе лгу? Зачем лицемерю и твержу,

что есть на свете свобода, отечество, любовь и тому подобные прекрасные вещи? Ведь я не верю в это, во всяком случае не верю твердо и постоянно.

Теперь я уже не считаю такими ничтожными мир и людей, теперь я сам себе кажусь ничтожеством, ненавижу себя до предела — так сильно, что не могу выразить словами. Думалось: я ослабел, поэтому и не способен ни к чему. Но уж если говорить всю правду, я никогда и не испробовал по-настоящему, каковы мои силы. Леня виновата. Я успокаиваю себя, и тоскую, и повторяю опять: что там пробовать, это смешно, я ни на что не способен. А все эти мои фантазии — не малодушие ли?

К чему работать? К чему жить? Чтобы потом вволю есть и спать? Может, вся молодость и уйдет на то, чтобы сделаться со временем торговцем или аптекарем? Или сапожником? И разве все эти люди не готовятся зарабатывать деньги, чтобы потом можно было жить, то есть обрести покой и сон, а значит — не жить? Спящий не живет. — Если действительно такова цель, то уж, конечно, жить не стоит и лучше взять да сбросить с себя груз этой бессмысленной жизни. Но, быть может, жизнь — наш долг? Просто потому, что таков обычай, потому, что ты — есть?

Сегодня опять чуть не обманул себя: показалось на какой-то миг, что в глубине души я идеалист, поэт, которого могут воспламенить и природа, и люди, верящий, что можно отыскать на свете что-то доброе и светлое. Опротивели мне насмешки над высоким и прекрасным, над поэтами (и меня так прозвали когда-то — за то, что я был таким тихим, задумчивым) и над поэзией. Не могу отрицать, что и прежде мне часто не нравилось презрение к добру и красоте, но теперь я об этом молчу и — тут величайшее мое несчастье! — не могу перестать смеяться в нужный момент, сказать, что мне не по душе эти издевательства, что я сам верю в красоту и ее уважаю. Но тут я опять начинаю бояться и сам себя, и других, опять все кажется мне ужасной ложью. . . . Когда возвращался в школу, решил покончить с бездельем и со стихоплетством тоже, до сих пор кое-как держался, но теперь опять все по-прежнему, тот же разор и пустота, те же вранье и глупость.

Ну почему я не умею выразить свои мысли, почему из моей душевной боли не рождается поэзия? Все это время, пока меня мучили чудовищные сомнения, не мог ничего писать, — мои демоны меня победили, подавили, сделали несчастным, неумным и превратили в конце концов в заурядного человечка, по глупости решившего стать поэтом, хотя сил для этого нет. Эти мысли и мое несчастное бессилие да еще попытки гнаться за славой, жизнью, радостью так меня опустошили, что загасили последние искры разума и поэтических способностей, если они и были. . . Я-то думал — у меня столько же сил, сколько и раньше, и терзал свои бедные мозги, понуждая их мыслить и творить, — и опустошил их еще больше. Если так пойдет и дальше, я, может, и не сделаюсь безумцем, — для этого тоже нужно быть по-своему сильным, — а так, хилым трусишкой, в котором все живые соки и кровь отравлены. Даже память слабеет — сказал слово, а через минуту уже не помню. Что делать-то? Хандра плоха, веселье как-то не дается, да и сама веселость моя тоже довольно дурацкая. Как тут спастись? . . . Временами на меня

нападает смех, и тоже неумный, или я напускаю на себя серьезность — чтобы людей обмануть.

Да, в хорошую минуту этот полумертвец, червями обглоданный, может и посмеяться, не врать про свои ужасные муки. Но и смех этот только раньше был страшен, теперь он может вызвать только презрение и насмешку. И даже это — облегчение; еще лучше, если слеза проползет по щеке или вдоль носа: все-таки доказательство, что он человек, а не дерьма кусок. Эти мгновения, как сказано, лучшие, — когда он червяком извивается у людей под ногами. Другой раз бродишь как во сне, без смысла, ничего не соображая, движешься, как живая машина, и если вздумаешь помешать ту самую кашу в голове, — оттуда ударяет такой скверный дух, что тут же махнешь рукой и живешь дальше, день за днем, как прежде.

Так я никакой не поэт? Где же выход, как мне, дурню, жить дальше, как вырваться из этого ада, сделаться опять человеком? Крутятся все те же мысли, и не хочется верить, что я таким и останусь, что я слишком труслив, чтобы убить себя, и потому мне не выбраться из моего пекла».

Но вот другое, о другом.

«Нет ничего более противного и унижающего, чем грубая любовь, которая состоит единственно в животном, низком обладании. Девушка, готовая бежать за первым попавшимся бродягой ради страсти, не ценит любовь, — ею владеет грубая, вызывающая отвращение, животная похоть. Если она позволяет своему бесчувственному самцу избивать себя, то животное в ней настолько подавило все духовное, что она уже и сочувствия не вызывает: противно и все!» Это он пишет после какого-то вычитанного в газете рассказа. Пылая от праведного негодования.

И приблизительно в то же время той же рукою пишется стихотворение:

Алые губки

Девичьи милые
Алые губки
Снились, светились
Во сне
Мне навстречу.

В них, губках аленьких,
Соединилось,
Взгляду открылось
Все счастье земное.

Алые губки —
Вокруг них витает
Чудная, странная
Власть колдовская.

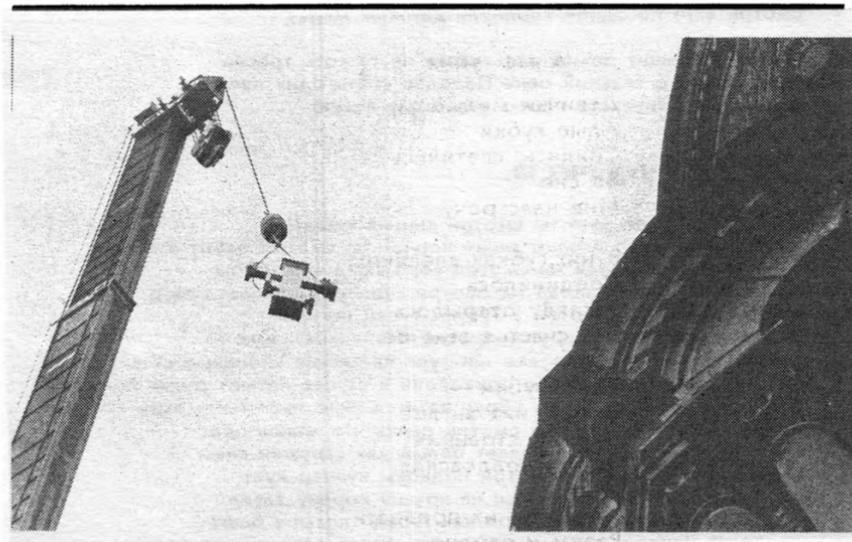
К свежей их прелести
Разум и сердце,
Каждая жилка
Стремится и рвется.

Тот, кому алые
Губки достались бы,
Не пожелал бы
Иного вовеки!

Как не сопоставить «правильную», вполне в духе маминых внушений, запись и «неправильные» стихи! Чьи там алые губки — не той ли легкомысленной особы, что готова броситься на шею любому бродяге? Или — недостижимой барышни из роскошной коляски, громыхавшей вчера по брусчатке Старого города? Да не все ли равно, если само твое сердце готово обернуться тем самым бродягой! И не спрашивать ничего у обладательницы тех алых, снящихся губ! Как смеется бессовестная правота поэзии над унылой правотой назиданий! Боюсь, что и сама она, поэзия, с такими же пухлыми, алыми, призывными, точно черешню раздавившими губами, тоже готова броситься на шею любому бродяге, то есть тут-то и фокус, что не любому — а любому, приглянувшемуся: кому захочет. И забыв совершенно все, что следует помнить благонравной девице, да она всего этого, может, и не помнила никогда, предаться . . . Ну чему там предаются. Об этом нельзя.

Вот фраза из дневника, более поздняя, но мы договорились: никаких дат, хотя бы в этом отрезке. «Бернхард придерживается мнения, что я из тех, кого зовут «потерянными»; Стучка — а с ним я за ключи л дружбу на веки, — сам слишком слаб, я с ним никак не объяснюсь как следует, для этого он недостаточно серьезен . . . »

Важнее всего для нас «вечная дружба», заключенная с одноклассником Петерисом Стучкой. С нее-то, может быть, и начнется понастоящему наш рассказ, наша версия жизни поэта Яна Райниса или — отсылая еще раз к заголовку — с е м и его жизнью.



Кресты над Домом знаний . . .



Латышский поэт Юрис КУННОС родился в 1948 году в Риге. Учился на историко-философском факультете Латвийского университета. Старший научный сотрудник Латвийского этнографического музея.

Изданы книги стихов: «Дреллис» (1981), «Пять семь» (1987).

Стихи Ю. Кунноса переводились на русский, литовский, эстонский языки.

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Перевел Сергей МОРЕЙНО

СОNET КОРНИКУ

коль бревна пригнаны плотно и первое солнце комом
глядеть на паводок шурясь идет плотовщик из дома
ведет братву свою корник блажит пацанва по лужам
и жены нежно краснеют мол что-то парит задуже

то солнце шпыняет ветры в низинах окрест Лубаны
леса в воде по колено а денег полны карманы
вселенная в два раза шире чем самая бурная речка
и корник взрыхлив перекаты протянет сома уздечкой

вроде как в шутку но чувствует будет жарко.
В корчме «У Свиньи» встречаются меняют весло на чарку
смотри еще по одной хлопнули держим марку

а кто не спешит домой хоть карта не та хоть тресни
тот должен о славной реке Педедзе спеть одну песню
о славной Айвиексте песню еще одну песню

ТРИ ПЯТКА ЧУДАЧЕСТВ

разжимаю кулак дую ты смотри кишмя кишат
шпильманы театр играют рожки корчат ты смотри рябит в глазах
мелкота кувиркается ты смотри ворожка мечет бобы
великан на ходули встал ты смотри гурьюбоу карлики вслед
дурачок один ты смотри в Тукумс гусей погнал
в болоте ты смотри другой третий ловят мух языком
ты смотри хозяйка колбасы шпигует на листья кленовые ставит хлеб
ты смотри соседи свинью прикололи в ступах летают рулят помелом
бочка с горы грохнулась обруч катится пиво льет ты смотри
девки на камень сели ты смотри печка что маков цвет
град пошел ты смотри падает белый как стружки снег
месяц дует в горн ты смотри подковы кузнец кует
в Алуксне ты смотри мужик на крышу корову завел
ловкачи елгавские ты смотри как гвозди козыря бьют
по морю корабль плывет ты смотри ветер гуляет идет волна
туда-сюда звон в ушах ты смотри кончилось тихо так
разжимаю кулак дую ничего нет

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

четырёхскатные крыши Пьебалги только щепы поменьше
пропали муромские леса Мещера Берендеево царство
или там по-чухонски говаривал кто
глубоко по размытым балкам мельчает струя
под кипящим солнцем под холстиной небес
забытое языческое слово

будь по-твоему
исчезнут последние идолы в черемухах черемисов
украшенные шоколадной фольгой и лентами школьниц
и обжигатель чувашских небес теряет дар речи
в восторге от великой реки не поймет где граница

может нету ее
убегает на север манящий волчий след
где шаманы камлают под мухомор где снега всего прозрачнее и белее
половину лодки-долбанки кладут на могилу
а младенцев зовут не по предкам но греческими именами
Венера Диана да нет это же боги римлян

радостно беззаботно помнишь в те дни по роцам тенистым
скакали били в тимпаны дудели бляели
жгли костры Дионису и Яну над озером от холма до холма
шалые фракийцы этруски что ли вымершие
за словом в карман не полезем

как вандалы на галльском погосте взнуздавшие солнце
чернильным небом тянут его вожжами на запад
ужас ужас ах смертный ужас
вот оно за Геракловы ныряет столбы
а что там в пучине морской
никому неизвестно

и лишь когда задрожат на ветру макушки деревьев
над местом где запаханы в землю пласт на
пласт
великие тайны
из-за тридцати ль земель с конца ли с краю ли с середины
капельки красной крови
на белый свет
поистине над водами бескрайними

* * *

Ох уж сельская эта смекалка,
не спит — работает, рычит, как лев.
До самой Риги кусочек теста раскатан скалкой,
в земле под ним тридцати саженой
магистраль из сосновых досок:
колодец — хлев.

Всего делов-то,
и дурнева младшая внучка,
сжигая опавшие листья, наломала дров.
Не честь дураков на свете,
особенно в соседнем приходе,
молвит печных дел мастер, как принято у мастеров.

Сосед наш вылезает из плетеных дрожек —
два пальца, одно на другое, чтоб не мерз.
Ни больше волшебников, ни ведьм, ни ворожек, —
подмигивает.
Что ему, когда полсвета в кармане,
табачку не понюшка — горсть.

На состязанье главнейших обманщиков
в ряд вставляли по росту
три хозяина — Гусишка, Гусенок, Гусь.
Раздули огонь в чертовой кухне,
ну, угощение будет, хозяйка уважит гостя,
баранинка есть в кубышке — накусь, выкусь.

Лошадь в раю привязывая, старый дедок прошамкал:
как пить дать, к добру добро,
а нищему пустое ведро.

Брось, говорит Адам, я же
богаче миллионера, всего у меня навалом.
Есть и дыра в кармане, есть и соль на рубахе,
и в волосах серебро.

ДЮНА

бери свой домик и трогай
зыбучей зыбучей зыбучей
сколь легкой столь тяжкой дорогой
за рощи поля и кручи
песчинки пред вечностью строгой

тиха так нежна так устала
я шла бы я шла бы я шла бы
к губам пересошим прижала б
одну лишь травинку росную
я тоже песчинка слабая

но чайки без моря не могут

СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ

привычка: прижать подбородок к груди, если в горницуходишь
привычка: голову гнуть в дверях перед царапинами на косяке
неважно, кем ставлен сруб, высоко подняты потолки или низко
цела ли семья иль сгинул кто на ветру: тяжесть-то вся

в коромыслах. Так вот в хлеву, в бане, амбаре и риге:
читать домовых
порог, куда вогнаны гвозди: скольких уже проводили
запечек, отдушину. То же и крест на дверях, кровью черного петуха
намалеванный
на резных дверях, петлях, узорчатых створках со шпонками

склонить голову. И будто сойти на вершок вниз, на чутку
пониже, в связке с велями
черпать силу. И будто клад, закопанный тут, гнил в подземной
воде, червивел, ссыхался
тысячу лет. Не трогаясь с места, придумать сто семь государств
где нету и хижин под солнцем, луною и звездами

привычка: уважить притолоку и порог (потолков еще нет в помине)
с робостью в лес входить: духов деревьев под сучьями не потревожить

так и жили. Сквозь вафельное полотенце в гараже цедили пиво
самодельное. И старшина-сверхсрочник с поставленным годами нюхом тянул
ноздрыми воздух: — Хорошо! Черт, как у вас тут пахнет!
без спичек прикуривали ваткой от лампочки. А в тире до июля
держались ландыши

под липами на площади, куда горячая и липкая рука
сводила в сумерки всех, чешские хохлушки — чьи-то внучки
с именами невесть почему славянскими: Марина, Саша, Люба
подначивали нас, что твои серны играя бедрами

с молоденьким безусым лейтенантом Юлиана прошагала, значит
забыла кукол и нацелилась в субботу потанцевать. Когда совсем стемнело
с вояками водилась хромая, как ангельчик бескрылый, потаскушка;
и прачки кареглазые, воркуя, допытывались: — Как живешь? —

Я отвечал: — Скажу, что хорошо, решишь, простак, а плохо
не поверишь. — И овражек горячий меж грудей, и немота, как в школе,
хотя знаешь:

кругом соседи

называлось: искать приключений. Ночью топать по 10 верст
нырять в кювет от пышущих в лицо моторов
чтобы после у соседей с гордым видом — (холодок в паху от офицерских
шагов) травить помалу
и обратно брести по шею залитым росой пшеничным полем
(польза: не стирать х/б)

и тралить речку шириной в пятак
в которой шесть подводных нор скрывают полное ведро форели
и дикий мед с лесных опушек

с воском вместе (Румцайс был задет) все с воском вместе
называлось: подножный корм

лишь раз пришлось к земле припасть и уши по-заячьи прижать
две пули прожужжали приветом как беспроволочная телеграмма
из рая

где еле-еле различимы слова «rojđ sem rojđ sem»
да нас уже там и в помине не было

* * *

Гайзиню родственник — Радагайс, Радегаст . . .
мир знакомый и маленький — все мы спускаемся с гор,
выходя на равнину
даже море забыто, здесь небо — в тысячу раз
ближе. И огоньки во тьме . . .

стою в карауле, в зеленом хэбэшнике, разбитые кирзачи
хлюпнули
немой калашников через плечо, папиросу прячу в ладони
стою в карауле: ночь, темнота, трясина молчит
плеск крыльев в воздухе: скалится деревянный божок

многоликий идол славян, предводитель кельтов, чело на монете
гроза Великого Рима и усталый, небритый ходок через Альпы
здесь мы встретились — в спрессованных тысячелетиях
древнее первоплемя на коленях Европы: я на восток отправлюсь обратно
бойи-богемцы (собиратели скальпов)
останутся тут: другие уйдут еще дальше

на стене надпись: до смерти два шага
положим, враки, и до Москвы поменьше 2000 километров
месяц совсем близко — неужели до дембеля
не дотопаю — нашли дурака
хватит стоять, присядем-ка на дорожку

горный воздух бодрит: Радагайс, зеленый подол Европы
урановая руда и гномик Румцайс с горняцкой лампой
вылез из книжки с картинками, прошел сквозь облако (горы, как
опиоманы?)
по тайным тропам

на лыже одной, получил золотую медаль, сияет

богема пражан. Стою в карауле, полон интернационализма
звезда просвистела мимо ушей, в пустоты провалов
на другой стене надпись: парень, иди домой, Федя твою Наташу
заболело колено, кругом чернота — скоро сменяться

седьмое вступление. Утомительно. Рестораны внизу ни на час
крыши особняков острые, как пирамиды (в Риге знаю, кто этой
ночью не спит)

вдруг полыхнуло, и в ритме ча-ча-ча
вонзилась еще звезда, попала. В яблочко. Гаснет. В сердце

* * *

одна ведьма жила на Красной Двине
что бы ни делала выходило всегда наизнанку
муж свалился по немощи в сточный люк
и его в последний путь проводил бульдозер
Фантомаса просто исчеркала шпана
сернилами чиними пардон чернилами синими
в Межапарке ей надо же не хватило суперфосфата
на Заячьем острове ветром сдуло козу
взялась пугать Странников на их же улице но как-то по-идиотски
нарыла ям на Саперной улице да сама же и села
а на Козлином бульваре не появлялась совсем
боялась как бы Ворчун не пристебался
однажды пошла к Симанису и сказала
«профсоюзные взносы я плачу аккуратно
послали бы и меня разок в санаторий
здоровье совсем никуда
и так вся жизнь прожита на Краснушке»
что бы ни делала получалось всегда наизнанку
в лечебнице в Юрмале сошлась с одним господином
да вместе с ним улетела в теплые земли
(а чем было плохо на родной водокачке)
с тех пор о ней никто ничего не знает
разве по радио сообщат о каком-нибудь землетрясенье



ДВА РАССКАЗА

Перевел Юрий АБЫЗОВ

ТЕТЯ ТАНЯ И УЖАСНО СИМПАТИЧНЫЙ АРТИСТ БОЯРСКИЙ

— Может быть, в праздник Лиго пойдем на Янову гору? — спросила Марта, садясь с мужем на диван и также вперяясь глазами в экран цветного телевизора.

Муж Марты Илгонис Яновзлак бросил взгляд на календарь, висящий за телевизором, и увидел, что действительно Лиго уже не за горами, пара дней осталась. То же самое подтверждают и работы в поле: вторую неделю их совхоз косит сено, вторую неделю все селение пахнет соляркой, потому что сенокос пожирает жуткое количество горючего. Илгонис не мог понять одного: почему Марта заговорила про Янову гору, ведь великолепно же знает, что Янис уже три года как помер, дом его на берегу озера спалили, только и осталось от Яниса что десяток старых яблонь, от которых один только прок — яблоко на ветке, которое и так никому не нужно, потому что вино из яблок уже не делают и сыт одними яблоками не будешь. Когда Янис еще был жив, он перед каждым праздником завозил на холм целый грузовик сухих березовых дров, на высоком шесте укреплял бочку со смолой, которая с треском горела всю ночь, все селение сходилась поздравить одинокого холостяка, который как будто с июня по следующей июнь жил только для того, чтобы устроить для всего селения праздник, чтобы любой хоть одну ночь мог танцевать, пить и петь до той минуты, когда над озером займется Янов день. Теперь в их селении больше не было никого, кому доставляло бы радость, кому нужно было возиться с заготовкой дров. В многоэтажных домах центральное отопление, и в ливанских сборных домиках дрова не нужны, да и возни-то сколько, чтобы на конец шеста бочку со смолой укрепить. И собирались на горе только подростки, горланили и колобродили до самой утренней зари. Уже на второй год после смерти Яниса его дом на берегу озера спалили, полыхал он так ярко, что даже пожарники не смогли отстоять. Поэтому в прошлом году колобродили уже в полной темноте, хорошо еще, что Янова ночь самая короткая в году, так что магнитофонные вопли не затянулись. Ни один нормальный человек в этом году идти на Янову гору не собирается, и Илгонис Яновзлак сделал вывод, что жена его Марта завела разговор насчет праздника только потому, что сейчас по телевизору идет передача

«Сегодня в мире», где комментатор взволнованным голосом излагал судьбы мира, а Марте совершенно безразлично, что происходит в Южной Африке, какие гнусные замыслы вынашивает правящая клика в Америке. Марту интересует одно — будет ли в сегодняшнем детективном фильме ужасно симпатичный актер Боярский, именно из-за усов и улыбки Боярского ее невозможно оторвать от телевизора, и она может смотреть все передачи подряд, лишь бы не пропустить своего любимого актера. А поскольку Боярского уже не было целых три дня, то она и завела разговор о празднике Лиго, потому что если два человека женаты, то ведь надо же им иногда о чем-то и поговорить.

— Ты Янов сыр нынче заготовила? — спросил Илгонис, не глядя на жену.

Марту этот вопрос неприятно задел, но она слишком много всего повидала в жизни, чтобы выказывать свое недовольство. Она хорошо знала, что Илгонис вообще-то не большой любитель сыра и говорит только ради того, чтобы что-то говорить, а у телевизора сидит только для того, чтобы увидеть красивую дикторшу тетю Таню, ту стройную и светлую женщину, которая ведет передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник». Илгонис и новостями в мире интересовался опять же потому, что после семи появится новая дикторша, он даже не скрывал, что ждет появления тети Тани. И Марта в свое время подцвечивала волосы, но тягаться с телевизионной Татьяной она не могла. Татьяна всегда приветливо улыбается, а Марта так не умеет, как бы ни старалась. Чтобы уметь улыбаться своему мужу, как тетя Таня улыбается миллионам зрителей, Марта перешла работать в столовую поваром, перестала держать свинью, отдала другим свой огород и по вечерам была свободна, даже ужин готовить не надо было, потому что и ужин и завтрак она приносила из столовой, и все равно у нее не получалось улыбки тети Тани. Еще она пыталась шить точно такие же платья, какие видела на избраннице мужа в телевизоре, но ни в селении, ни в районном центре не было такой шикарной портнихи, которая бы с этим справилась, а ездить из-за платьев в Ригу слишком обременительно, тогда уж придется отказаться и от работы в столовой. Но коли мужу приспичило заполучить этот Янов сыр, то завтра посудомойка Наталья отпросилась ехать в Ригу и пусть привезет оттуда сыр.

— Завтра Наталья едет в Ригу, пусть привезет килограмм, — сказала Марта и увидела, что муж вовсе и не слушает ее, а напряженно глядит, не появится ли после «Новостей» тетя Таня. Но нет, тетя Таня сегодня программу не вела, никому не улыбалась, последняя надежда оставалась на программу «Спокойной ночи, малыши!».

Илгонис Яновзлак видел, что открылась дверь и без стука и даже без звонка появилась Наталья. Теперь у него все же будет Янов сыр, если уж она собирается завтра в Ригу.

Наталья позвала Марту выполнить цветочную грядку перед дверью ее секции, потому что там сплошные сорняки, а она слышала, что у латышей есть такой обычай: в Вечер трав порицать в песнях всех, кто не прополот огород и не привел в порядок двор.

Марта ничего Наталье не сказала про сыр, а лишь ответила, что там уже который год растут сорняки, и если они станут вырывать перед своей дверью крапиву и бурьян, это будет означать, что им больше всех надо, и тем самым они как бы бросят вызов соседям.

Видно было, что Наталье латышских слов не хватает, поэтому она перешла на русский, и при этом так взволнованно, словно выступала

на производственном совещании. Наталья сказала, что когда-то надо же начинать, и если они прополют хотя бы одну клумбу, другим, может быть, станет стыдно, Наталье же стыдно, что перед таким красивым домом, где живет столько нужных совхозу людей, такой неполадок.

Сейчас по телевизору шла первая всесоюзная программа, до фильма — полчаса, передача об ускорении, какой-то бригадир рассказывает, что его бригада работает вдвое быстрее и почти вдвое качественнее. Поэтому Илгонис таким же тоном, как телевизионный бригадир и как сравнительно ответственный совхозный специалист, в меру своих сил постарается успокоить Наталью. Он сказал, что прополка всего одной клумбы все равно ничего не даст, надо вывезти весь строительный мусор, который лежит перед их домом в крапиве уже четвертый год, надо привезти земли, разбить дорожки и детскую площадку для игр, надо засыпать на дороге вывороченные тракторами ямы, а на старой дубовой аллее, ведущей к их дому, спилить засохшие ветки, но ведь сейчас самый сенокос, и разве Наталья не знает, что все силы брошены на заготовку кормов, сейчас солнце прямо катится по земле, и просто преступно ради благоустройства отрывать людей от жизненно важной кампании. Всегда и везде надо решать главные проблемы, и если сейчас все займутся вопросами дворового благоустройства, то скотине зимой опять придется плохо.

Это заявление убедило Наталью, она сказала, что завтра едет в Ригу и тоже купит в рассрочку цветной телевизор, у них с Петером только черно-белый, а цветной все же лучше: коровы тогда бурые, а трава зеленая. Ее Петер охотно смотрит «Панораму» по рижскому каналу.

Марта сказала, что они с мужем рижскую программу не смотрят, скучно и затянута, у московского телевидения другой темп и другой размах.

Наталья на это сказала, что, может, оно и так, но завтра она обязательно привезет домой цветной телевизор, чтобы они с мужем в канун праздника Лиго могли увидеть все эти хороводы. У латышей такие красивые костюмы, и они хотели бы видеть их непременно в цвете.

Когда Наталья ушла, слышно было, как хлопнула соседняя дверь, значит, полоть она все-таки не пошла, и Марте на миг стало жалко, что она не попросила Наталью привезти из Риги Янова сыра.

У двери зоотехника Розалии долго лаяла собака, чтобы впустили в дом к ее миске, и зоотехник Илгонис Яновзлак никак не мог понять, как это собаки и кошки в этом многоэтажном доме с многоквартирными лестницами находят свою дверь. Он сам, чтобы войти в свою квартиру, всегда смотрит на номерок, а животные, как хорошо известно, в некотором отношении превосходят человека, наверное потому у них у всех такие грустные глаза.

Начался ежевечерний детектив, и Марта с деланным безразличием пыталась разглядеть в титрах имя ужасно симпатичного ленинградского актера. Но среди многих имен имени Боярского не было. Она почувствовала себя такой же обманутой, как в прошлом году после экскурсии в Ленинград. Совхоз организовал автобус на десять дней. Всех ослепили петергофские фонтаны, живописное богатство Зимнего дворца, роскошь дворцов бывшего Царского Села, а ныне Пушкина, но Марта поехала в Ленинград только затем, чтобы как-нибудь нечаянно на расстоянии ста метров увидеть на улице Михаила Боярского. Но этого совхоз не смог организовать, и она вернулась, так и не увидев Боярского. После посещения Ленинграда она уже ни в чем не видела

смысла. Марте все стало совершенно безразлично. Тогда-то она отдала соседям свой огород, — пусть гребут деньги за ранний картофель, — перестала откармливать свинью. А зачем ей возиться со скотиной? В столовой варила только щи и жарила только котлеты. Это было все, на что она была способна. Только и оставалось сил, чтобы ждать появления на экране телевизора Боярского.

Поскольку Боярского в этом фильме не было, хотя фильм и начинался интригующе — со зверского убийства, ей страшно захотелось, чтобы на месте жертвы оказался Илгонис, а чтобы этого не случилось, Марта пошла на кухню разогреть принесенные из столовой котлеты. Наверное, от запаха котлет ей стало худо, а еще хуже того, когда она увидела, что муж уже переключил телевизор на вторую программу, потому что сейчас должна начаться передача «Спокойной ночи, малыши!».

На экране появился симпатичный поросенок Хрюша, он долго чего-то не понимал, потому что не умел считать до десяти, но вместо тети Тани с Хрюшей беседовал улыбающийся дядя. Илгониса эта передача тут же перестала интересовать, потому что Хрюша, хотя и не мог считать до десяти, улыбался своими пуговичными глазами очень уж беспечально. А Илгонису, как зоотехнику, было известно, что животные никогда не улыбаются.

Илгонис принял есть разогреть котлеты, и каждый кусок застревал у него в горле. Тетя Таня, или, как он про себя называл ее, Татьяна, никогда бы не кормила его таким ужином. Татьяна подала бы на маленькой тарелочке вкусный салатик, испекла бы свежие булочки и на маленьком фаянсовом подносике подала бы кофе, и он наполнил бы весь дом жарким и уютным ароматом. Но Илгонис запил столовские котлеты теплым лимонадом прямо из горлышка, потому что Марта выглядела такой злой и потерянной, что ему страшно было попросить стакан. Именно в этом его отказе от стакана проявилось уважение и благорасположение к жене, потому что он слишком хорошо знал, что жена на него никогда не крикнет. Марта, чтобы иметь возможность мечтать о своем Боярском, разрешает и ему фантазировать о Татьяне и безнадежно надеяться на то, как бы изменилась его жизнь, если бы Татьяна улыбалась только ему. Тогда бы он наверняка не получал зарплату в этом совхозе, где директора менялись в таком же темпе, как строились ливанские домики. Почти во всех этих домиках жили бывшие директора. Похоже, что насаждение этих домов продолжалось только для того, чтобы не угасала надежда, что в их хозяйстве когда-нибудь все же появится директор, который будет настоящим хозяином, руководя совхозом дольше года. Если бы Татьяна улыбнулась ему хотя бы раз, Илгонис уже был бы работником по меньшей мере районного масштаба, определенно работал бы в Риге и, как знать, может быть и в Москве, потому что Татьяна определенно не смогла бы и дня прожить в их селении и обедать в их столовой.

Но с началом программы «Время» Марта и Илгонис опять сели рядышком на диван против телевизора, потому что у Илгониса уже не было никакого повода взбираться вверх, он уже простился не только с московскими, но и с рижскими и даже районными благами, да и у Марты осталась одна-единственная надежда: а вдруг в вечерней развлекательной программе споет какую-нибудь песенку Боярский, а иначе что же это за вечер отдыха без Боярского?!

Оба чувствовали себя усталыми и опустошенными, на экране генеральные директора и бригадиры заверяли, что будут работать еще

напряженнее, американцы грозили новыми видами вооружения, даже метеорологи предвещали дождь.

— А что в дождь можно делать на Яновой горе? — спросил Илгонис, и Марта уже знала, что на этот вопрос можно не отвечать, Илгонис произнес это просто так, потому что если муж и жена друг с другом не разговаривают, то им вообще не стоит жить вместе.

— Да, в дождь там просто нечего делать, — все же ответила Марта. Как только она увидела Михаила Боярского в телевизионном фильме про трех мушкетеров, так тут же поняла, что величайшая ошибка в ее жизни произошла в одну дождливую ночь на Янов день, когда она, самая незаметная девушка в селении, осталась одна, и именно тогда подвернулся этот Илгонис, они нашли сенной сарай, и именно в результате дождя у них родился сын, который сейчас служит в армии.

— Опять этот дождь многим испортит радость от праздника, — сказал Илгонис и отчетливо вспомнил эту дождливую ночь, дымящийся от дождя костер, потом эту невзрачную девчонку, которая одиноко стояла, промокнув до последней нитки. И вот после этого у Марты родился сын. Как хорошо, что он сейчас в армии, исполняет свой гражданский долг.

— В наше время эти языческие праздники с кострами вообще пережиток, — поддакнула Марта; она уже знала, что сегодня Боярского не увидит, без всякой радости придется ложиться спать и слушать, как храпит ее муж, которого не хватает даже на то, чтобы отпустить усы.

— Еще недолго, и уже никто про этот Янов день и не вспомнит, забудут, как многое забывается, — сказал Илгонис Яновзлак; он уже знал, что сегодня свою тетю Таню, свою обожаемую Татьяну, не увидит и придется ложиться спать рядом с женой, которая от него хочет только одного: чтобы он отпустил точно такие же усы, как у Боярского.

И тут произошло нечто невероятное: после разных титров, после довольно глупого мультфильма на экране возникла тетя Таня и, весело улыбаясь, сказала:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил своей Татьяне Илгонис Яновзлак и вдруг почувствовал, что живет не так уж напрасно и бесполезно, ответил с точно такой же улыбкой, и не было на свете человека счастливее его.

Но это еще не все — рядом с тетей Таней появился сам Михаил Боярский с гитарой и сказал:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! — откликнулась Марта не раздумывая, так же, как ее муж, и, если бы этот жутко симпатичный, всемогущий и мужественный актер предложил, она бы, несмотря ни на какие препятствия, прыгнула в свой цветной телевизор, хотя он куплен в рассрочку и за него платить еще целый год.

Но на этом все не кончилось. Михаил Боярский стал петь Татьяне, песня была про любовь дождливым летним вечером, а потом Михаил поцеловал Татьяну в щечку.

Марта улыбнулась Илгонису так же прелестно, как тетя Таня Михаилу Боярскому, и Илгонис Яновзлак даже не заметил, что он целует свою жену Марту. Илгонис чувствовал себя таким всемогущим и мужественным, что Марта поняла: у них будет еще один сын, и Илгонис Яновзлак такой могучий, что смог бы один натаскать на Янову гору

столько сухих дров, что никакой дождь не смог бы потушить костер Яновой ночи.

ЭТА ЗВЕЗДА. ТАМ ВДАЛИ

Она пришла холодным зимним вечером, когда я уже надеялся, что больше никого не будет и я смогу спокойно идти домой и только телевизионные новости еще смогут мне помешать.

Примерно раз в месяц мне приходится сидеть на приеме трудящихся в Доме печати, часа этак четыре выслушивать всяческие жалобы, потом обещать помочь тем, кто еще надеется, что их несчастье, попав в газетную статью, а стало быть, сделавшись всеобщим достоянием, взбудоражит все читающее общество, важные начальники примут соответствующие решения, эти решения в соответствующие сроки будут выполнены, и несчастье если и не превратится в счастье, то во всяком случае будет переноситься легче.

И вот она пришла холодным зимним вечером, и хотя в комнате было так тепло, что я сидел без пиджака, она не сняла свою потрепанную, почти розового цвета вязаную шапочку, не сняла долгие годы ношенное пальто, отчего петли у него были все разлохмаченные, а меховой воротник довольно облезлый. Она явно хотела, чтобы посторонний человек не увидел ее без пальто, чтобы не охватил взором ее несчастье во всей его наготу.

Она сразу сказала, как ее зовут, где она живет. У нее есть муж, есть сын. Мужа ее зовут Саша. И сына тоже зовут Саша, хотя у обоих в паспорте значится Александр. Оба ее Саши ужасно издеваются над нею, вероятно она кончит свою ненормальную жизнь в сумасшедшем доме, потому что о чем бы один ни спросил другого, тот отвечает одними и теми же словами.

Когда я спросил, что же это за слова, она, странно растягивая слова, глядя мне в глаза, чтобы видеть, какое впечатление на меня произведет сказанное, произнесла:

— Эта звезда. Там вдали.

Я не смог выдержать ее пристального взгляда, поэтому взглянул в окно, ожидая, что она скажет еще. Небо было затянуто тучами, ни одной звезды я там увидеть не мог, и пока она молчала, я представил себе какую-то очень далекую и очень яркую звезду, следуя за которой можно идти через замерзшие реки, через болота и моря, брести через снежные равнины, сквозь бесконечные леса, через густые кустарники, пока наконец не придешь к весне, где уже нет снега, мороза, замерзшего оцепенения, где все зеленое, цветущее и живое.

Но когда я вслушался в ее взволнованный голос, эта мерцающая в воображении звезда погасла, она стала такой далекой, что я даже мысленно не мог ее различить, зато все реальнее видел отца и сына, Сашу и Сашу.

Саша — здоровый и нормальный молодой человек, но друзья и одноклассники считают его слишком романтичным. Если у Саши бывает какая-нибудь неприятность или если задают какой-нибудь слишком сложный вопрос, он понимающе кивает головой, делает серьезное лицо и отвечает, глядя в даль небес или на побеленный потолок:

— Эта звезда. Там вдали.

В глубине души Саша рад, что все его считают романтиком, потому что иначе некому рассказать, как он стыдится себя и своих родителей.

И как же Саше не стыдиться, если у всех есть джинсы, и только у Саши нет джинсов. У всех есть магнитофон, только у Саши нет

своего магнитофона. У некоторых есть даже видеомангнитофон с за-
прещенными фильмами, и только у Саши пока что нет ни малейшей
надежды обзавестись видеомангнитофоном. У всех порядочных ребят
на кисти блестящая цепочка, какие носят гонщики, чтобы после ава-
рии можно узнать, как его зовут и какая у него группа крови. Только
у Саши нет такой цепочки. У всех есть электронные часы, только
у Саши нет электронных часов. У всех есть цветные кроссовки, только
у Саши нет даже серых кроссовок, а стало быть, нет для него и
дискотеки. У всех ребят есть девочка, только у Саши нет своей
девочки, потому что разве нынче девочки смотрят на парня, у кото-
рого нет ничего ценного, который только и умеет тупо ухмыляться и
непонятно отвечать:

— Эта звезда. Там вдали.

Самое унижительное начиналось после уроков, когда Саша вместе
с другими учениками выходил из школы.

После уроков школьников обычно поджидали парни с кастетами и
отнимали у учеников денешки. Нет денег — возьмут кроссовки или
электронные часы. У всех было что отдать парням, только у Саши
ничего не было. Он очень хорошо знал, что и у этих лихих парней сна-
чала ничего не было. И он охотно пошел бы заодно с парнями с хоро-
шим кастетом на руке, только ведь его никто не возьмет, потому что
как-то на вопрос, почему у него ничего нет, он, как обычно, тупо отве-
тил:

— Эта звезда. Там вдали, — за что тут же получил кастетом и по-
пелся домой, плюясь кровью.

Он ждал той минуты, когда станет таким сильным, как эти могучие
парни, когда сможет расправиться с этими могучими парнями, ото-
гнать их от школы, чтобы самому собирать рубли, кроссовки, элект-
ронные часы, магнитофоны и даже видеомангнитофоны у тех, кто сла-
бее. Тогда он может со спокойной душой ходить на дискотеку, и самые
красивые девочки будут смотреть на него с восторгом даже тогда,
когда он произнесет:

— Эта звезда. Там вдали.

Придя домой, Саша обычно ничего не рассказывал, он уже наслу-
шался, как мать ругает отца Сашу за то, что он как мужчина давно уже
выглядит посмешищем, потому что не может заработать столько,
чтобы жена и сын чувствовали себя людьми, не может заработать хотя
бы столько, чтобы ей не было стыдно за мужа и сына.

Сашин отец Саша после этих ежевечерних разговоров обычно
жалко улыбался, подмигивал сыну с деланным весельем, но убеж-
денно, с гордым упрямством произносил:

— Это звезда. Там вдали.

Жена, слыша это, хлопала дверью так, что над дверью обвалива-
лась штукатурка. Сашин сын Саша удивлялся только тому, как это
в их квартире все стены целы.

Эту квартиру они получили и последний раз отремонтировали еще
тогда, когда Саша работал в милиции и надеялся на новую звездочку
на погонах. Но так получилось, что незадолго до получения этой новой
звездочки Саша напал на след молодежной банды, члены которой
в свободное от учебы и отдыха время занимались спекуляцией. Сашу
весьма деликатно и чуть заметно предупредили, так сказать, дали поня-
ть, что мальчиков надо лишь постращать, мальчики исправятся, по-
тому что это отпрыски довольно ответственных товарищей. Саша,
не желая нечестным путем зарабатывать очередную звездочку,
ответил строго и прямо, что и у него есть сын и его сын будет очень

стыдиться, если его отец хоть раз проявит себя нечестным человеком. Вскоре Саше прямо заявили, что не видать ему причитающейся звездочки, если он передаст дело с отпрысками в прокуратуру. На эту угрозу Саша еще решительнее ответил, что именно своего сына он считает сверкающей вдали звездой. Эта звезда там вдали существеннее всего, свою настоящую звезду он не хочет потерять ни в коем случае, не хочет даже один-единственный раз испытать стыд перед своей звездой.

Уходя из милиции, он, ко всеобщему удивлению, сказал:

— Эта звезда. Там вдали.

Из-за этих четырех слов в двух предложениях он долго искал работу, пока наконец не устроился санитаром в больнице, потому что все полагали, что на этой скудно оплачиваемой и неблагодарной работе он образумится.

Сашин сын Саша рос все больше и больше, на его обучение требовалось все больше денег, но Саша работал в больнице на скудно оплачиваемой работе, другой работы уже не искал, видя, что на его место никто не придет, никто из тех, кто может облегчать страдания другим, а кто будет работать, если не будет работать этот придурковато наивный Саша? Все санитары за свои служебные обязанности брали рублевки, а кто посильнее — и трешки. Если Саше незаметно совали рубль в карман белого халата, он тут же возвращал его со словами, что мир рухнет, если один станет помогать другому только в расчете на рубль. У него есть сын, и как же он сможет смотреть в глаза сыну, когда тот узнает, что он живет на собранные с больших рубли, что будет с его сыном, если он привыкнет жить на эти мятые рублевки, которые унижают человеческое достоинство, даже самого благородного человека превращают в мятую рублевку. Поэтому Саша, придя домой, всегда гордо говорил сыну:

— Эта звезда. Там вдали.

Никто не считал Сашу умным человеком, даже самые умные врачи полагали, что он не совсем в здравом уме, потому что мужчине в расцвете сил, пусть даже он работает санитаром, пусть даже гордится тем, что не берет мятые рублевки, не пристало к месту и не к месту твердить:

— Эта звезда. Там вдали.

Понятно, что все потихоньку над ним посмеивались. Даже доктора. Даже больные. Как-то в большой праздник, когда некому было больше давать Почетную грамоту, главный врач вручил ее Саше. Все ждали, что Саша скажет. Разумеется, в глазах у Саши в этот момент стояли слезы гордости, и он чрезвычайно торжественно, как будто перед приведением в исполнение смертного приговора, произнес:

— Эта звезда. Там вдали.

Весь больничный коллектив взорвался смехом, но чтобы не пришлось долго смеяться, принялись громко и бурно аплодировать, а потом аплодисменты перешли в овации.

Жена Саши, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, чтобы прокормить мужа с сыном, стала выращивать в семейном огорожке цветы и посылала мужа торговать ими возле больницы, потому что у больницы за них больше дают, не скупятся. Но Сашин отец Саша не мог требовать денег с тех, кто не скупится, — даже нескольких минут не постояв в длинной веренице цветочниц у ворот больницы, он относил цветы тем больным, которых родственники не навещали, ожидая лишь того, чтобы они поскорей померли.

Когда жена спрашивала, где деньги за цветы, он отвечал крайне глупо, как человек, не чувствующий за собой вины:

— Эта звезда. Там вдали.

Тогда жена стала посылать Сашу к кладбищу, потому что у кладбища цветы тоже хорошо покупают, но Саша относил все цветы, прямо все ведро, к могилам своих бывших больных, которые из больницы попали прямо на кладбище, потому что он всегда чувствовал себя виноватым, когда в больнице кто-то умирал.

И хотя жена ругалась, хотя не кормила ни завтраком, ни ужином, даже чаю без сахара не давала, он всегда упорно повторял, хотя у самого приличных туфель на ногах не было:

— Эта звезда. Там вдали.

Она так и не сняла свою розовую шапочку, все еще не расстегнула ни одной пуговицы своего выдавшего виды пальто, но, почувствовав, что рассказала слишком много, что ее несчастье не могут больше скрыть ни шапочка, ни застегнутое пальто, сказала, что больше не знает, что делать, потому что вчера муж пришел из больницы уже со второй Почетной грамотой, протянул ее сыну и необычайно гордо произнес:

— Эта звезда. Там вдали.

— Эта звезда? Там вдали? — переспросил сын и плюнул отцу прямо в лицо, потому что у всех все есть, только у него ничего нет.

Потом Саша ударил Сашу. Дошло до крови. В комнате у них проращиваются тюльпаны к Восьмому марта. Шаши искалечили все восьмимартовские тюльпаны.

Расстегнув пальто, она сказала, что оставила их дома, что пришла она не жаловаться, а спросить: сможет ли еще кто-то на свете ей помочь? Может ли кто-то сделать это несчастье хоть немного выносимее?

Что я мог ответить? Разумеется, я ответил не раздумывая:

— Эта звезда. Там вдали.

— Эта звезда? Там вдали? — переспросила она. Невероятно, но похоже было, что она очень хорошо поняла, что именно я выразил этой звездой там вдали.

— Эта звезда. Там вдали, — повторил я, но уже решительнее и убежденнее.

Она кивнула, что действительно поняла. И, не застегнувшись, ушла. В окно я долго смотрел, как она уходит в развевающимся, незастегнутом пальто.

Я видел, как она села в троллейбус, троллейбус тронулся, от подпрыгнувшей штанги возникла искра, она медленно взлетела в небо, становясь красной, еле различимой звездой. Их звездой.

Тучи уже разошлись, небо заполнилось звездами, звезд были мириады, но мне было страшно на них смотреть, страшно, что я не увижу там свою. Эту звезду. Там вдали. Ту звезду, увидев которую уже невозможно жить нормально, надо следовать за ее прекрасным мерцанием, пока она не исчезнет в своей дали.



СТИХОТВОРЕНИЯ

В ЛЕСУ

О нынешний год на могилах грибы хороши.
Черная падаль за шиворот лезет, и пусть.
Забава для глаз и огромный покой для души —
Найти в заповедном бору поплавок или груздь.

Сцепление жизни и смерти на наших глазах.
Стволов шелушенья и свежий березовый гной.
Я вижу осу, зависавшую на тормозах
И сразу входящую в тушки распахнутый зной.

Но ты, осторожной рукой раздвигая кусты,
Пожалуй, смотри, не спугни моего слизняка.
Зарытые в землю на штык оржавелые рты
В обличье гриба из трухи вынимает рука.

Невинно убитые вяжут узлы под землей.
Задумайся, путник, не твой ли сегодня черед
Свистеть по оврагам холодной и хлесткой змеей,
Чье эхо еще обернется разок и замрет.

* * *

Добудь огня, зажги свечу и жди,
Пока в саду не дернется калитка,
И в лунном свете не пройдут вожди
Грибных боев и праздничных напитков.

У нас в ходу замесы на крови,
И, что ни год, листва ложится наземь.
И я прошу: «Господь, благослови!
Пусть не порвутся родственные связи».

Русский поэт Сергей МОРЕЙНО родился в 1964 году в Москве. В 1987 году окончил Московский физико-технический институт, начал работать в Вычислительном центре АН СССР. С весны 1988 года живет и работает в Риге. Стихи и переводы С. Морейно публиковались в журналах «Дружба народов», «Даугава», «Родник». Переводил произведения О. Вацетиса, У. Берзиньша, Я. Рокпелниса, Ю. Кунноса и других латышских поэтов.

За то, что ночью капала вода,
Скрипел сверчок и грызла мышь известку,
Я на оброк отпущен навсегда —
Весенний жир расплавить на подмостки.

Приходит май, и правила игры
Со мной опять играть готовы в прятки.
И мы опять творим свои пиры,
Или, согнувшись, вскапываем грядки.

* * *

Садовод под вечер намажет медом оконца,
Чтоб слетались, как мухи, дочери и зятя.
И столовой ложкой хлебать закатное солнце
Отправляются бабушка, сестры и я.

И пойдет подошва дырявая гальку хрумкать,
А у станции происходит разбор гостей.
И тогда весь мир заключается в этих сумках,
Где арбуз засыпан ворохом новостей.

И, глядишь, на заднем дворе костерок дымится.
А еще у калитки, помню, сосна росла.
И жгут под водочку глупейшие небылицы,
А им, говорила бабушка, несть числа.

* * *

Обнимали страну дожди, золотили ведра.
Я гулял по ней, как мог, и мои сандалики
наступали, эх, на ее золотые бедра
и на голый плес червонный песок кидали.

А кругом шумела Москва, площадями рдея.
Середина была конца, и вода у горла.
Тца-тца-тца, Ясон, любила тебя Медея,
ты ушел, Ясон, а она под кустами мерла.

Ты был груб, Ясон, а она вынимала жало
(Чья пчела в меду?) из горячей и нежной кожи.
Ты козел, Ясон, потому что она бежала
от судьбы, а ты смеялся, прохожий.

Мы на голом месте росли, на голом и сиром.
На коня вскочил: хоп-хоп, поминай как звали.
Не держали нас тогда ни куском, ни силой,
не стелили спать и к столу никогда не звали.

* * *

Мы идем напрямую от этих корявых стволов,
От жужжанья шмелей, умирать залетающих в дом,
От кукушкиных слез и роскошных коровьих столов,
И печальных зверей, собирающих липовый лом.

Оттого и согнулись под тяжестью нашей дубы,
Что в густой креозот нацедили свое молоко.
Мы висим муравьями, сжимая в объятьях столбы,
И под нами в тени мотыльку не летать высоко.

* * *

кажется, я не искал это место
в руки не брал и не трогал губами
сладкое место, пахучее тесто
жирной земли и подливки с грибами

я на него был когда-то натравлен
верьте — задолго до жизни — не верьте
двинской свинцовой водою отравлен
к счастью — до смерти, задолго до смерти

* * *

Мой меч не наточен, а панцирь не знает закалки.
Я кисть не отвел для замаха, я вам не слуга.
Я даже поднять не могу этой кованой палки,
тяжелой и грязной — я ранен, я месяц в бегах.

А эти могли по утрам инструктировать стражу,
двуручной иглой обшивая холопскую пруть.
За ними потянется шлейфом кровавая пряжа,
но этой одежды при нас никому не носить.

Я царскому слову надежный и верный хранитель.
Но если сорвется и сроют зубцы крепостям,
я буду еще засекаться, как черные нити,
и пестрою лентой еще поползу по костям.

* * *

Вот и вы, дожди, я звал вас почти полгода.
Бил челом, писал вам нежные письма.
Вы в ответ махали серебряной лейкой
и порой в серебряный рог трубили.
Вот и вы, сейчас я встану навстречу —
смойте с моей спины безумье вокзалов,
робость очередей и пустые витрины.
Я иду на холм, где Ояр, Улдис и Янис.
Босые ноги, бахилы, дети и предки.
Тех, умерших на поле, зарыли в брусничник.
Я умру под дождем, на голом асфальте.

* * *

Ока течет измученной равниной.
Дрожит в сети паучьих городов.
И выгибая сказочную спину,
касается губами проводов.

— Идем туда, к паучьим лапам Ската,
к железным крышам Красного Села, —
сказала ты (а ты была крылатая),
и я не знал, что между ног текла

Сухая пыль, понятный и обидный
кристальный смысл униженной страны,
с которой только по ночам не стыдно,
а ты уже кричала со стены:

— Идем туда, где крепостная слава
в моих дубах гнездо себе свила . . .
Меня всюю качала Даугава
и мертвой Ригой медленно вела.

УБИЛ ЛИ СТАЛИН ЛЕНИНА?

ПОМОГАЛ ЛИ СТАЛИН ЛЕНИНУ УМИРАТЬ!

Когда один мой студент в Русском институте Американской армии попросил меня назвать главные рычаги, опираясь на которые Сталин достиг своей единоличной власти, мой звучащий парадоксально ответ послужил темой нашего будущего семинара:

— Технический аппарат ЦК.

— Набальзамированный труп Ленина.

— Практический синтез уголовщины и политики.

Соратники Сталина постоянно твердили: «Сталин — это Ленин сегодня». И это было совершенно правильно. Советская партийно-государственная машина до последнего своего винтика была создана Лениным, но как водитель и эксплуататор этой беспрецедентной террористической машины Сталин вполне превзошел своего учителя. Еще в начале века Ленин говорил: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию» (Что делать?, 1902 г.). Эту идею Ленина Сталин положил в основу своей программы установления единоличной диктатуры, правда, не сформулировав ее открыто: «Дайте мне организацию партаппаратчиков, и я переверну советскую Россию». Исполнительно-технический аппарат ЦК Сталин создал еще за год до того, как сам стал его главой. Будучи председателем Оргбюро ЦК, занимавшегося назначением и снятием высших кадров партии и государства, Сталин изгнал из Секретариата сторонников Троцкого. Ответственным секретарем ЦК Сталин назначил своего ставленника, соратника по дореволюционной «Правде» Молотова, а его старшим помощником — начальника своей канцелярии в Наркомате национальностей — Товстуху. То, что успели сделать ставленники Сталина с аппаратом ЦК еще в период активной работы Ленина и за год до назначения Сталина генсеком, показал XI съезд партии (март—апрель 1922 г.). Ногин, делавший доклад от имени Центральной Ревизионной Комиссии, заявил, что между партией

и ее ЦК образовалось некое «средостение»: «Это — партийная бюрократия, партийные чиновники. Они, эти неизвестные в партии люди, фактически руководят важнейшими делами партии, вплоть до назначения и снятия высших кадров».* Выступивший по докладу Ногина Стук заявил, что Оргбюро и есть главное бюрократическое средостение между ЦК и партией**. Явление это стало настолько очевидным, а критическое отношение партии к нему настолько кричащим, что русский марксовед Рязанов (к которому Ленин часто обращался за фактическими справками о тех или иных высказываниях Маркса и Энгельса) на XI съезде сказал прямо в лицо Ленину слова, которые я уже приводил в «Происхождении партократии»: «Наш ЦК — совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается»***.

Поскольку на том же съезде Сталин был избран генсеком (согласно Троцкому — против воли Ленина), процесс бюрократизации партии и абсолютизации власти аппарата ЦК продолжал идти с возрастающей интенсивностью. Конечная цель этого процесса — очистка партии от партийных «еретиков» в лице разных оппозиций внутри партии и даже ее ЦК, создание такой партии, которая политически и идеологически состояла бы как бы из одного куска. Был найден и метод для достижения этой цели — периодические чистки партии от инакомыслящих. Нашел этот метод не Сталин, а Ленин.

В первом решении о чистке партии 1921 года, опять-таки за год до «генсекства» Сталина, а именно в «Письме ЦК ко всем парторганизациям о проведении чистки партии» от 27 июля 1921 года говорилось: «Мы производим не просто очередную перерегистрацию, а именно генераль-

ную чистку. Строго, систематически и обдуманно мы приложим все меры к тому, чтобы в наших рядах не осталось ни одного сомнительного даже — «коммуниста»... необходимо внимательно, звено за звеном, пересмотреть каждую ячейку... каждого товарища, нисколько не останавливаясь перед тем, что данный товарищ занимает хотя бы самый высокий пост... Необходимо, чтобы наша партия, более чем когда бы то ни было, была вылита из одного куска»*.

В результате этой первой, ленинской «генеральной чистки» из партии было исключено 24,8% от общего числа членов. Сталин в дальнейшем этим методом будет пользоваться более щедро, с той только разницей, что исключенных из партии он будет выключать из жизни. Однако универсальной отмывкой в руках Сталина, помогшей ему преодолеть все препятствия на путях сначала к всевластию аппарата ЦК над партией, а потом — единовластию самого Сталина над аппаратом ЦК, послужило решение X съезда партии «О единстве партии», принятое по инициативе Ленина.

Это решение поручало ЦК: 1) уничтожить всякую фракционность и образование групп внутри партии, думающих иначе, нежели думает сам ЦК, 2) ЦК были даны полномочия «применять меры в случае нарушения дисциплины, вплоть до исключения из партии» — даже членов и кандидатов в члены ЦК. Тем самым Ленин вводил в партию перманентное «осадное положение», поставив партаппарат над партией.

Эту резолюцию Ленина Шляпников (руководитель ЦК в России накануне и во время Февральской революции) на съезде оценил так: «Владимир Ильич вам прочел лекцию о том, каким образом не может быть достигнуто единство. Ничего более демагогического и клеветнического, чем эта резолюция, я не видел и не слышал в своей жизни за 20 лет пребывания в партии»**. Максимовский (член партии с 1903 г.), выступая содокладчи-

* Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1961, с. 61.

** Там же, с. 99.

*** Там же, с. 79.

* КПСС в постановлениях и резолюциях. Т. 11, 1970, с. 274—277.

** X съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963, с. 530—533.

ком на X съезде, отметил, что вся власть «строится на принципе бюрократической централизации... Бюрократической системе нужен не сознательный коммунист, а послушный исполнитель, нужен чиновник, который слушает приказы сверху»*.

Еще накануне этого съезда Коллонтай выпустила брошюрку «Рабочая оппозиция», в которой говорилось: «Былой тип идейного работника у нас исчез, появились управляющие и управляемые, стоящие одни — наверху, другие — внизу». Очевидцы рассказывали, что когда на съезде Коллонтай подошла к Ленину, тот отказался подать ей руку. «Такой даме я руки не подаю», — будто бы сказал Ленин и демонстративно отвернулся. Между тем на пути Ленина к власти она была его верной подручной. Сталину недаром приписывали слова, что если Крупская не откажется от участия в «Новой оппозиции», вдовой Ленина он сделает Коллонтай.

99% делегатов X съезда партии, голосовавших за резолюцию Ленина, были впоследствии, при Сталине, исключены из партии, руководствуясь этой резолюцией, а потом и расстреляны. Интересно, что Сталин не присутствовал на этом поименном историческом голосовании, как он не присутствовал и на историческом заседании ЦК 24 октября 1917 г., на котором решили начать восстание. Один из делегатов X съезда, голосуя за резолюцию, продемонстрировал прямо-таки пророческий дар. Им был Карл Радек, который сказал: «Когда я слышал... как товарищи говорили о новом праве, которое дается ЦК и ЦКК... в известный момент решать вопрос об исключении из ЦК и т. д., — у меня было чувство, что будто здесь устанавливается правило, которое неизвестно еще против кого может обернуться... Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может обратиться и против нас и, несмотря на это, я стою за резолюцию»**.

Да, Сталин еще не был генсеком, но запомним, что он был больше, чем генсек: он остался, как единственный из членов Политбюро, так-

же и членом Оргбюро со дня создания этих органов (1919), где председательствовал. Так как Оргбюро распределяло высшие кадры партии и государства. Сталин был выше всех секретарей ЦК. Ленин знал, что делал, рекомендуя Сталина на должность председателя Оргбюро: этот уж не даст спуска никому — ни идейным фанатикам «внутрипартийной демократии», ни «закомиссарившимся» рабочим лидерам, как любил выражаться Ленин. Однако, встав одновременно и во главе аппарата ЦК в качестве генсека (1922 г.), Сталин начал, как это было в его стиле, перевыполнять план Ленина по чистке партии: началась неизвестная доселе практика назначения секретарей губкомов и обкомов; за ними потянулась подбираемая ими государственная бюрократия. Местные организации подняли вой: «Долой незнакомцев!», «Долой партийную олигархию!».

Лидер группы «Демократический централизм» Сапронов на IX съезде партии (1920 г.) как раз ЦК и назвал «маленькой кучкой партолигархии», но на член Политбюро Украины Яковлев (будущий наркомзем) ответил, что Сапронов хочет заменить существующую олигархию другой олигархией — «только головой пониже... Мы предпочитаем гениальную олигархию — посредственной олигархии»*. На том же съезде Ленин объявил свой собственный пресловутый «демократический централизм» — «допотопным и устарелым», а тех, кто его все еще проповедовал («децистов»), — «идиотами»**.

Ленин хотел любой ценой и при всех условиях — «единоначалия» вместо «коллегий». Лидер «децистов» сказал, что видит в постановке вопроса Лениным весьма опасную тенденцию: «Диктатуру пролетариата мы превратим в единоличную власть диктатора»***. Он даже назвал трех лиц в качестве кандидатов в потенциальные диктаторы — Ленина, Троцкого и Сталина. Это было в 1920 г. В «Правде» даже появи-

* X съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963, с. 243—252.

** Там же, с. 533—534.

* IX съезд РКП(б). Протоколы, 1960, с. 57.

** Там же, с. 124.

*** Там же, с. 176.

лась статья, в которой имелись выдержки из работы Гольцмана — одного из сторонников Ленина: «Коллегия плоха потому, что не дает размаха гениальной личности». На это один из группы «децистов» ответил: мы защищаем не всякую коллегию: например, мы предлагаем распустить такую коллегию, как Оргбюро!

На все эти обвинения Ленин ответил: «Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре нисколько не противоречит... волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходимо» * (курсив мой. — А. А.).

И вот — через несколько месяцев после своего назначения генсеком — Сталин начал проводить в жизнь через Оргбюро программу Ленина о «единоначалии», но с острием, направленным против самого Ленина (только тогда Ленин забеспокоился о том, не лезет ли сам Сталин в этого диктатора, о котором пророчил Осинский), тем более, что активизация Сталина совпала с обострением болезни Ленина.

Болезнь Ленин начал с конца 1921 г., а 25 мая 1922 г. у него случился первый удар, в результате которого произошел частичный паралич правой руки и правой ноги, а также расстройство речи. С этой даты, 25 мая 1922 г., начинаются интриги и скрытая борьба за наследство еще не умершего, но явно умирающего Ленина. В Политбюро (члены: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рыков, Томский; кандидаты: Бухарин, Молотов, Калинин) образовалась негласная «тройка» (Сталин, Зиновьев, Каменев), чтобы предупредить приход к власти Троцкого — на словах, а на самом деле — чтобы самим захватить власть. Формальным главой «тройки» был Зиновьев; на деле «тройка» была сталинским изобретением, а Зиновьев и Каменев стали просто пешками на сталинской шахматной доске, хотя сами и мнили себя ведущими фигурами.

«Тройка» добилась назначения Сталина связным между большим Лени-

ным и ЦК. Только он один имел доступ к больному Ленину¹. Пока Ленин в Горках под Москвой боролся со смертью, Сталин, пользуясь поддержкой Зиновьева и Каменева, удивительно ловко боролся за укрепление своих личных позиций. По его инициативе и вопреки предупреждению Ленина в сентябре 1922 г. Сталин проводит через Оргбюро свой проект «автономизации» национальных республик, то есть вступления УССР, БССР и ЗСФСР в состав РСФСР на началах «автономии». В октябре 1922 г. Сталин проводит, опять-таки вопреки Ленину, решение Пленума ЦК о частичной отмене монополии внешней торговли. В этих условиях Ленин обращается к Троцкому стать его заместителем, чтобы провести «радикальную личную перегруппировку», но когда Троцкий ответил, что дело не столько в госаппарате, сколько в партаппарате, Ленин ответил: «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК». — Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. — «Пожалуй, выходит так». «Ну что ж, — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса, — я предлагаю вам блок: против бюрократизма вообще, против Оргбюро в частности» *.

Если два признанных вождя Октябрьского переворота, один — глава партии и государства, другой — вождь Красной Армии, были вынуждены заключить блок против **одного** Сталина, значит — Сталин превратился в силу, равную им обоим вместе взятым. Троцкий замечает, что они с Лениным решили создать комиссию, куда бы вошли они оба, с тем чтобы комиссия стала «рычагом для разрушения сталинской фракции» **.

Ленин попросил Троцкого выступить на Пленуме от его собственного имени против обоих названных выше решений (об «автономизации» и о частичной отмене монополии внешней торговли). 15 декабря 1922 г.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 272.

¹ Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Ч. 2. Берлин, 1930, с. 216—217.

** Там же, с. 217.

Ленин сообщил Сталину об этом своем решении. Но Троцкий, выступающий по мандату Ленина, был для Сталина страшнее, чем сам Ленин, ибо такой Троцкий выглядел бы в глазах партии законным преемником Ленина. Поэтому Сталин поспешил взять обратно решение о монополии, а насчет «автономизации» решил дать бой.

Ленин в своем письме в ЦК о плане Сталина насчет автономизации писал, что это «вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться». В ответ Сталин обвинил Ленина... в «национал-либерализме». Весь «национал-либерализм» Ленина сводился к тому, что он предлагал вместо включения национальных республик в состав РСФСР «создать одно общее союзное государство — СССР». Ленин был «великодержавным централистом» не меньше Сталина, но как политический стратег он умел быть эластичным — создать внешнюю форму «независимости» республик и их квазифедерацию, с тем чтобы вернее осуществлять централизацию (Ленин: «Централизация руководства — децентрализация ответственности»). Однако Сталин долго не сдавался. В партийную литературу попали примечательные записки, которыми обменялись на заседании Политбюро ЦК Каменев и Сталин по этому вопросу.

Каменев пишет Сталину: «Ильич объявляет войну в защиту независимости (республик)». Сталин отвечает: «Я думаю, что мы должны быть твердыми с Лениным»*.

К предыдущим прибавился еще один подвох Сталина. Пользуясь болезнью Ленина, Сталин произвел в Грузии переворот, направленный против соратников и единомышленников Ленина по национальному вопросу, а ставленник Сталина в Закавказье Орджоникидзе на грузинской партконференции даже ударил по лицу одного из критиков Сталина. Грузинская партийная организация обратилась с жалобой к Ленину на переворот, произведенный Сталиным. Сталин был вынужден послать в Грузию комиссию для проверки

жалобы. Комиссия состояла из двух сталинских сторонников — Каменева и Дзержинского. Не будучи уверен в добросовестности комиссии, Ленин решил сам проверить «грузинское дело». Через свою секретаршу он затребовал от Сталина материалы «грузинского дела». Секретарша Ленина получила от Сталина ответ: «Материалы без Политбюро дать не может»*.

В дальнейшем драма жизни Ленина — быть или не быть ему в живых — как бы превратилась в драму самой его партии — быть или не быть этой партии суверенным и живым политическим организмом или оказаться лишь орудием в руках Сталина в его стремлении к единовластию. Но она угрожала быть и драмой политической жизни самого Сталина, ибо Ленин открыто заявил своему окружению, что «готовит бомбу» против Сталина на открывающемся в начале года XII съезде партии. Единственное условие, чтобы донести эту «бомбу» до зала заседаний съезда, — это его, Ленина, выздоровление к этому времени.

Опытный конспиратор в политике и гениальный мастер лавирования, Ленин вдруг допускает гигантскую психологическую ошибку, изменяя собственному тактическому принципу: нельзя сообщать противнику наперед, что ты собираешься сделать с ним завтра. Он делится своими планами против Сталина не только со своими секретарями, но и с другими членами Политбюро — Каменевым и Зиновьевым (о которых он точно знал, что они в заговоре со Сталиным, в «тройке»), с Троцким, которого Ленин усердно вербовал в союзники против Сталина, но который за дымовой завесой собственной риторики никогда не мог постичь истинной природы Сталина.

Но это все ничто по сравнению с той роковой ошибкой, которую человек может совершить лишь один раз в жизни, ибо цена этой ошибки — собственная жизнь. После XX съезда партии об этой роковой ошибке Ленина узнал весь мир: свои планы политической ликвидации Сталина Ленин сообщил письмен-

* Поспелов П. В. И. Ленин. Биография, 2-е изд. М., 1963, с. 611.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 476—477.

но самому Сталину 24 декабря 1922 г.

1) «Письмо XII съезду», известное как «завещание» Ленина. В нем сказано: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»*.

2) Записки «К вопросу о национальностях, или об „автономизации“», 30—31 декабря 1922 г. В этих записках Ленин подводит политические итоги интриг Сталина по национальному вопросу, защищая позицию грузинских большевиков, которых Сталин объявил «уклонистами» и «социал-националами». Ленин добавляет, что Сталин сам «является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым великорусским держимордой»; «политически ответственным за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию следует сделать, конечно, Сталина и Дзержинского»**. В начале записок Ленин замечает: «Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения»***.

3) Добавление 4 января 1923 года к «Письму XII съезду»: «Сталин слишком груб... Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека...», который, по Ленину, должен отличаться от Сталина тем, что он «более терпим, более лоялен, более вежлив... Это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение»****.

4) 5 марта 1923 г. «Товарищу Сталину. Строго секретно. Лично. Копию гг. Каменеву и Зиновьеву. — Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее... Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому

прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин»*.

Словом, Ленин сказал Сталину, как Тарас Бульба своему сыну Андрию: «Я тебя политически породил, я тебя политически и убью». И — ошибся, ибо имел дело с «сыном», способным на организацию «отцеубийства», с учеником, стократ превосходящим учителя в искусстве и технике организации политических и физических убийств. Ответа от Сталина на письмо с угрозой порвать отношения Ленин не получил², ибо сие зависело не от Ленина, а от Сталина, так как в феврале 1923 г. Политбюро, когда Сталин дипломатически, в уверенности на отказ, просил освободить его от ответственности за режим больного Ленина, еще раз подтвердило свое старое решение. Таким образом, и дальше только один Сталин имел доступ к Ленину и был ответственным за соблюдение большим режима лечения. Что же касается «Письма XII съезду» и записок об «автономизации», предназначавшихся Лениным для публикации в «Правде», то Сталин и «тройка» в целом решили утаить «Письмо» от XII съезда и отказать в публикации статьи.

Когда в октябре 1923 г. Зиновьев и Каменев на Пленуме ЦК и ЦКК признались, что вопреки воле Ленина они скрыли от XII съезда (апрель 1923 г.) «Письмо XII съезду», то находчивый Сталин, мало заботившийся насчет логических объяснений, если его интересы расходились с законами логики, просто заявил: «Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что «завещание» Ленина было адресовано на имя XII съезда»**.

Ленин прямо пишет в «Письме»: «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде (курсив мой. — А. А.) ряд перемен в нашем политическом строе»***. Этот съезд и есть предстоящий через два с половиной месяца XII съезд, а если верить Сталину,

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 345.

** Там же, с. 361.

*** Там же, с. 358.

**** Там же, с. 346.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 329—330.

** Сталин И. В. Сочинения, т. 10, с. 173.

*** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 343.

Ленин якобы пишет не «этому съезду», а еще через съезд — XIII съезду. Почему была предпринята такая грубая фальсификация?

В своих книгах я неоднократно указывал, что Сталин в интересах захвата власти над партией и государством был способен не только убивать соратников Ленина, но и **убить самого Ленина**. В «Происхождении партократии» я вскользь упомянул о «психологическом яде», который Сталин ввел в мозг тяжело больного Ленина, чтобы ускорить его смерть. Сейчас я хочу остановиться на этом более подробно.

Итак, помогал ли Сталин Ленину умирать? Напомним, что если европеец Ленин в известном письме Сталину лишь для красного словца угрожает «местию» за оскорбление жены («Я не намерен забывать так легко»), то азиат Сталин — самое воплощение мести, всеми фибрами души, до мозга костей. Ведь Ленин трижды оскорбил Сталина — и каждый раз оскорбление могло стать для Сталина судьбоносным.

Сталин — профессиональный подпольщик-террорист, став во главе ЦК и «Правды» с марта по апрель 1917 г., направлял политику большевиков в России, провел Всероссийское совещание большевиков, на котором, по его предложению, было решено: 1) оказывать «условную поддержку Временному правительству», 2) вновь объединиться с меньшевистской партией. Во главе объединенной РСДРП встали бы Сталин и Каменев от большевиков, Мартов и Церетели — от меньшевиков. С докладом об этом решении 3 апреля должен был выступить Сталин на объединенном собрании обеих партий. Однако в тот же день, 3 апреля 1917 г., Ленин прибыл из эмиграции и огласил свои знаменитые «Апрельские тезисы» — «никакой поддержки Временному правительству, никакого объединения с меньшевиками». И тут же Ленин забрал у Сталина и ЦК, и «Правду». Сталин должен был униженно каяться ~~в своих ошибках~~.

После июльских событий 1917 г., когда большевики провалились при своей первой попытке захвата власти, Ленин бежал в Финляндию, и во главе партии вновь оказался Сталин. Он руководил и VI съездом партии (июль—август 1917 г.). С сентября

1917 г. Ленин неоднократно обращается с письмами к ЦК, требуя, чтобы восстание было назначено, не дожидаясь открытия II съезда Советов, на котором Сталин и даже Троцкий хотели взять власть «легальным» путем. Вернувшись в Петроград, Ленин грубо оттолкнул Сталина от руля управления партией и сам назначил вооруженное восстание. Сталин проглотил пилюлю и, как всегда, покорно подчинился воле Ильича. Ленин, опираясь на председателя Петроградского Совета Троцкого, успешно совершил переворот и в первом советском правительстве дал Сталину фиктивный пост в совершенно фиктивном Наркомате малых национальностей.

И вот теперь, когда Сталин с таким трудом и преданной службой не столько партии, сколько лично самому Ленину, добрался вновь до вершины власти, Ленин — уже в третий раз — захотел сбросить его с третьего трона. Если Сталин теперь решил, что этому больше не бывать, то надо понять и его. Сталин любил изрекать: «Принципы не примиряются, а побеждают». Поскольку священным принципом всех принципов в политике является власть, Сталин решил сохранить легально завоеванную им власть генсека любой ценой, даже ценою жизни — не своей, конечно, а Ленина.

В высших партийных кругах Грузии, особенно среди друзей Ленина, объявленных Сталиным «национал-уклонистами», упорно распространялся слух, что Ленин не умер, а покончил жизнь самоубийством, приняв яд, данный ему Сталиным. Слух этот передавался в разных вариантах — то Сталин дал Ленину яд по его настойчивому требованию³, чтобы избавиться от адских мук, то этот яд Сталин дал Ленину через своего агента-врача, которого он ввел в лечащую комиссию врачей, а потом уничтожил как опасного свидетеля (называли даже имя). Был и такой вариант — Сталин разыскал для Ленина в Грузии народного целителя, лечащего от самых тяжелых болезней какими-то чудотворными травами, а на самом деле этот целитель не лечил, но залечивал Ленина ядовитыми травами. Интересно, что во всех вариантах слухов неизменно присутствует яд, будто Сталин так

и ездил к Ленину с флакончиком яда, подобно тому, как к нему самому позже ездил Берия — по рассказам Хрущева. Все это, конечно, только слухи, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.

В конце сентября 1939 г. Троцкий написал статью под сенсационным заголовком «Отравил ли Сталин Ленина?». Эта статья была опубликована в американской печати 10 августа 1940 г. Вполне вероятно, что Сталин, чтобы предупредить дальнейшие разоблачения Троцкого, предложил своему агенту при Троцком убить его, что и произошло через десять дней. Содержание этой статьи повторено и в неоконченной книге Троцкого «Сталин». Там Троцкий рассказывает, что в конце февраля 1923 г., вернувшись с очередного свидания с Лениным, Сталин доложил Политбюро, что Ленин просил дать ему яд, чтобы избавиться от невыносимых мук в случае нового удара. Троцкий не настаивает на том, что Сталин мог дать Ленину яд, хотя замечает, что Ленин знал, у кого просить яд.

Почему Сталин сообщил об этом Политбюро? Может быть, Сталин действительно дал просимый яд, чтобы избавить Ленина — от мучений, а себя — от него?

Трудно найти в истории политиков, которые, планируя преступление, умели бы создавать себе наперед столь абсолютное алиби, как это умел делать Сталин. Можно быть уверенным, что Сталин никакого яда Ленину не дал, но Сталин откровенно предупредил Политбюро: смотрите в оба, я, конечно, Ленину яда не дал бы, а вот сам Ленин ищет яд, а кто ищет, тот и находит! В семье ли, среди ли друзей-посетителей (несмотря на «медицинский карантин», Ленина посещали почти все, кроме Троцкого) может найтись человек, который даст ему яд из сострадания. Если же при вскрытии тела Ленина установят отравление, Сталин скажет: «Вот видите, что я вам говорил!» Сталин был не мелкотравчатый ловкачом и жуликом, а тем, кем его называли при жизни — корифеем. Но корифеем — науки преступления и искусства его маскировки. К тому же Сталин жил не в эпоху Римской

империи, когда его духовный предтеча, Нерон, почти не скрывал, что убил собственную мать. И не в средневековье, когда тираны прибегали к ядам довольно по-дилетантски. Сталин жил в эпоху, когда яды были усовершенствованы, а их применение так скрупулезно дозировано, что человек может умирать неделями, а если нужно — то и годами.

Болезнь Ленина не считалась неизлечимой. Первый раз Ленин пожаловался на свое недомогание на XI съезде партии в апреле 1922 г. Официально приглашенные для осмотра Ленина из Германии профессор Г. Клемперер и О. Ферстер не нашли у Ленина ничего серьезного. В интервью в «Таймсе» от 5 апреля 1922 г. было сказано: «Ленин — человек крепкого физического сложения, большой рабочей энергии. За последнее время его работоспособность уменьшилась, и он и его друзья решили расследовать, не является ли это следствием какой-либо болезни... Мы осмотрели Ленина и нашли лишь небольшую неврастению, следствие переутомления... Никаких медицинских советов не потребовалось. Мы рекомендовали, чтобы Ленин некоторое время берегся и отдохнул»*.

Ленин начал думать об отдыхе на Кавказе и даже переписывался на этот счет с кавказским партийным руководителем — Орджоникидзе. Ленин ему писал: «Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испытать лечение всерьез, надо сделать отдых от «дыхом»**. Все, что Ленину требовалось — это максимальное спокойствие. Заключение всех медицинских светил было — надо максимально щадить нервы Ленина. Сталин, избранный на этом съезде генсеком (по Троцкому — вопреки Ленину), сделал все от него зависящее, чтобы максимально вредить нервам Ленина и создать вокруг Ленина условия максимального беспокойства. У Ленина было три удара — 25 мая, 23 декабря 1922 г. и 8 марта 1923 г. Четвертый удар, 19 января 1924 г., оказался смертельным».

* Фишер Луис. Жизнь Ленина. Лондон, 1970, с. 867.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 229.

Каждому удару предшествовало невероятное волнение Ленина в связи с очередным подвохом именно Сталина.

Масштаб, характер и политическая цель этих подвохов поддаются точной реконструкции на основании документов. Никто не может обвинить Сталина в том, что ему физическая смерть Ленина милее, чем собственная политическая смерть; а что Ленин готовит ему такую смерть, об этом не просто говорят, а кричат названные документы.

Сталин хочет предупредить такой ход событий в полном согласии со своей философией уголовного, которая впоследствии сделалась девизом уркачей его империи: «Умри ты сегодня, а я умру завтра!» Для этого ему вовсе не нужно прибегать к такому грубому методу, как впрыснуть яд или подать его в пищу. Сталин хорошо знает, что существуют легальные методы для устранения нежелательных друзей, методы, которые потом станут его «второй профессией»: 1) «медицинское убийство» (впоследствии этот метод даже получит у Сталина специальное название: «вредительское лечение»); 2) «психологическое убийство», когда людей доводят психическими атаками до смертельного удара или до самоубийства. Насколько первый метод был действенным и безопасным, гарантирующим неразоблачение, рассказывал на своем процессе в 1938 г. шеф НКВД Ягода, который заявил, что он этим методом умертвил Максима Горького, его сына, своего предшественника Менжинского, члена Политбюро Куйбышева (он, конечно, умолчал о том, что действовал по поручению Сталина и что он, старый фармацевт по профессии, по поручению того же Сталина создал при НКВД даже специальную аптеку для «лечения» ядами). Эффективность второго метода, метода психических атак, Сталин как раз и доказал на Ленине, на человеке, который был исключительно благодарным объектом для таких атак ввиду его прямо-таки патологической чувствительности и раздражительности в делах текущей политики.

Сталин довел Ленина до того, что тот хотел покончить жизнь самоубийством, но Сталину было выгоднее, чтобы Ленин кончил жизнь без

эксцессов. Другим он охотно разрешал эти «эксцессы». Именно из-за непрекращающихся психологических атак Сталина покончили жизнь самоубийством члены Политбюро Томский, Орджоникидзе, члены ЦК — Гамарник, Иоффе, Лашевич, Ломинадзе, Любченко, Скрыпник. Поскольку все специалисты, да и все медицинские учебники единодушны в утверждении, что между болезнью такого рода, как у Ленина, и влиянием внешнего мира на эту болезнь существует функциональная связь, Ленину было запрещено общаться с внешним миром. Это запрещение казалось всего — чтения, переписки, телефонных разговоров, приема посетителей. Полный информационный карантин должен был освободить Ленина не только от волнения, но и от необходимости думать о политике (когда в 1923 г. в Берлине умер его злейший враг Мартов, то даже этот факт семья скрыла от него).

Вот этот детальный и всесторонний порядок психотерапии, предложенный врачами для лечения Ленина, по всей вероятности, подал Сталину идею разработать свою собственную психокриминальную науку — «психоразрушение». В эту науку, как и в «специальную аптеку» НКВД, должно было войти все, что было запрещено медициной, и все, что могло повредить психологическому комплексу больного. Поэтому «психоразрушение» Сталина было системой психологических воздействий, направленных на подрыв здоровья, а затем и гибель человека. Позже система «психоразрушения» была положена в основу подготовки больших политических процессов 30-х годов. Она никогда не применялась сама по себе, но — в сочетании с двумя другими системами — «лекарствами» из аптеки Ягоды («волеослабляющие» или «волеразрушающие» вещества, как их тогда называли) и «методами Курского» (методы физических пыток, впервые примененные во время «шахтинского дела» будущим заместителем Ежова — Курским и его помощником Федотовым из Северокавказского краевого управления ГПУ). Только такая комбинация психологических и физических пыток на непрерывных допросах («конвейер») приводила к желательному для следствия результату.

Ленин был, в сущности, под домашним арестом. Недаром у него в беседе со своей секретаршей вырвалось выражение: «Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы был на свободе . . .)»*. Все три секретарши Ленина в Горках⁵ — Володичева, Гляссер, Фотиева оказались агентами Сталина⁶, потому он их и оставил в живых, а верховным надзирателем был его враг Сталин. Но Сталин свою жертву не подвергал, конечно, никаким физическим пыткам; не знаем мы также — давали ли помощники Сталина из его агентуры среди лечащих врачей какие-нибудь противопоказанные лекарства, но зато мы в состоянии доказать, что Сталин впервые применил именно к Ленину свою систему «психоразрушения».

При первом ударе Ленина в мае 1922 г. — это, значит, через неполных два месяца после назначения Сталина генсеком, — каких-либо внешних проявлений борьбы за власть между Сталиным и Лениным не замечено. Зато Сталин пользуется периодом болезни Ленина (май—октябрь), чтобы подготовить переход власти к «тройке» (Сталин — Зиновьев — Каменев). Троцкий сообщает, что когда 10 октября Ленин вернулся к работе, то «Ленин чуял, что в связи с его болезнью за его и за моей спиной плетутся пока что почти неуловимые нити заговора . . . Он готовился дать «тройке» отпор»**.

Таким образом, выздоровевший Ленин сразу вступил на поле, сплошь заминированное «тройкой», собственно — Сталиным. При каждой новой попытке Ленина разминировать это поле, происходит новый очередной взрыв — вот с этого Сталин и начинает подвергать Ленина уничтожающим действиям своего «психоразрушения». Действия Сталина можно восстановить по документам Ленина и по событиям тех дней.

1. В начале октября 1922 г. Сталин и Орджоникидзе производят в Грузии антиленинский переворот. Ленин протестует — но безуспешно.

2. В начале октября 1922 г. Сталин против воли Ленина проводит решение Пленума ЦК о частичной отмене монополии внешней торговли. Ленин с успехом протестует.

3. В конце ноября 1922 г. Сталин оформляет свой разгром ленинцев в Грузии через посланную туда «нейтральную» комиссию ЦК во главе с Дзержинским. Ленин резко протестует — но безуспешно.

4. В начале декабря 1922 г. Ленин требует осудить Дзержинского за «пристрастие», а Орджоникидзе за рукоприкладство (нанес пощечину Б. Мдивани в присутствии Рыкова). Сталин отказывается. Ленин резко протестует, но — безуспешно. В результате волнения у Ленина 13 декабря 1922 г. случаются два приступа болезни, а 15—16 декабря происходит резкое общее ухудшение здоровья. В ночь с 22 на 23 декабря у Ленина — второй удар. И, несмотря на это или именно поэтому, Ленин хочет писать «Письмо» предстоящему XII съезду партии. Сталин возражает против нарушения врачебного режима. Тогда Ленин предъявляет ультиматум: или ему позволят диктовать письмо, или он отказывается от лечения. Сталин вынужден уступить.

5. 24 декабря 1922 г. — 4 января 1923 г. Ленин пишет свое «Письмо съезду», в котором требует снятия Сталина. Сталин прячет это письмо под сукно.

6. 30—31 декабря 1922 г. Ленин пишет резкую статью против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе в защиту грузинских «национал-уклонистов» и требует напечатать ее в «Правде». Сталин не разрешает, Ленин протестует — но безуспешно.

7. В начале марта 1923 г. Сталин вызывает Крупскую, жену Ленина, к телефону и обкладывает ее последними словами из своего богатого лексикона ругани за «интриги» против него⁸. В ответ Ленин пишет 5 марта письмо Сталину о разрыве личных отношений (Крупская: Ленин «никогда бы не пошел на разрыв личных отношений, если бы не считал необходимым разгромить Сталина политически»⁹). Письмо Ленина не

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 478.

** Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Ч. II, с. 212.

* Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Ч. II, с. 223.

производит на Сталина никакого впечатления, и он не извиняется⁹.

8. 6 марта 1923 г. Ленин пишет письмо Мдивани, Махарадзе и другим «национал-уклонистам» о том, что готовит в их поддержку записки и речи. Сталин это письмо конфискует.

9. 8 марта 1923 г. у Ленина — третий удар, случившийся ночью. Но врачей вызывают лишь утром 9 марта. В этот самый критический момент, когда для Ленина действительно решается вопрос жизни и смерти, его подводит человек, на которого Ленин так много надеялся как в отношении создания «блока», так и в совместном разгроме Сталина, — подводит Троцкий. В беседе с Каменевым Троцкий заявляет: «Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего намерен поднимать на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек... Я против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе (Ленин требовал исключения Орджоникидзе из партии. — А. А.), против снятия Дзержинского... Не нужно интриг. Нужно честное сотрудничество»*.

«Честное сотрудничество» со Сталиным! Вот где уместно повторить слова Яна Гуса, сказанные им при его сожжении, когда темная старушка подкинула в огонь лишнюю соломинку: «О, святая простота!»

10. Величайший психологический удар огромный взрывной силы Сталин наносит Ленину 17 и 18 января 1924 г. в своих по форме анти-троцкистских, а по существу антиленинских речах и в резолюции XIII партконференции от 19 января 1924 г., согласно которой, опять-таки по форме, осуждается Троцкий за якобы антиленинский «мелкобуржуазный уклон». Вот официальный комментарий Института марксизма-ленинизма при ЦК: «Январь, 19—20 (1924 г.) — Н. К. Крупская читает Ленину резолюции XIII конференции РКП(б), опубликованные в «Правде». Сама Крупская пишет: «Суббота и воскресенье ушли у нас на чтение резолюций. Слушал Владимир Ильич очень внимательно, задавая иногда вопросы», но «когда в субботу Владимир Ильич стал, видимо, *волно-*

ваться (курсив мой. — А. А.), я сказала ему, что резолюции приняты единогласно», то есть — обманула. Ленина, если его политически вообще можно было обманывать.

Твердо знающий свою цель и свое дело Сталин давно отменил медицинский режим для Ленина, снял информационный карантин (кроме секретных материалов самого ЦК), разрешил визиты друзей Ленина, но строго следил за тем, чтобы Ленин не приезжал в Москву (за одну такую поездку Ленина в Кремль и на Сельхозвыставку в октябре 1923 г. Сталин пригрозил ему дисциплинарным взысканием Политбюро)¹⁰, а также не встречался с Троцким. Впрочем, Троцкий был единственным из членов Политбюро, который ни разу не посетил Ленина во время его болезни.

Ленин — опытный читатель своей и чужой прессы — увидел из «Правды», что то, чего он боялся, уже совершилось: Сталин фактически захватил власть над ЦК и начал ею злоупотреблять. Если 20 января Ленин только «волновался», то 21 января в 18 часов 50 минут с ним случился последний — смертельный удар.

Выдающийся американский ученый, автор фундаментальной биографии Ленина Стефан Т. Поссони подверг специальному исследованию два аспекта возможного преступления Сталина против Ленина. Первый аспект — «медицинское убийство», и второй — «психическое убийство». Вот его выводы.

1) «Медицинское убийство». Что, прежде всего, под этим понимать? Неоказание больному нужной помощи или прописывание больному лекарств, которые могут привести к смертельному исходу, или, наконец, выдача больному таких лекарств, которые могут ускорить смерть от собственно болезни. Поссони говорит: «Ленин умер от апоплексического удара. Следовательно, медицинский убийца должен был вызвать этот удар». Поссони сообщает, что существуют подозрения, что Сталин мог быть этим медицинским убийцей, потому что (1) Сталин имел мотивы и причины ненавидеть Ленина; (2) Сталин имел возможность организовать «медицинское убийство» Ленина; (3) Сталин не разре-

* Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Ч. II, с. 224.

шил произвести полное вскрытие тела Ленина¹¹ и, манипулируя врачами, старался создать себе алиби; (4) здоровье Ленина особенно ухудшалось как раз тогда, когда такое ухудшение было нужно Сталину в политических целях. «Велика вероятность, что конец Ленина был ускорен шприцем морфия», — говорит автор.

2) «Психическое убийство». Автор, однако, склонен думать, что Сталин скорее всего убил Ленина наиболее безопасным методом — психическими атаками. Поссоны пишет: «Три раза у Ленина был медицинский кризис, каждый раз в результате сильнейшего психического давления, предпринимаемого умело и с определенным намерением Сталина на Ленина... Сталин старался — это надо считать доказанным — уничтожить Ленина психически. Конец Ленина был ускорен психическим воздействием на него — это тоже можно ясно доказать. Волнения, которые Сталин регулярно провоцирует у Ленина, повышают его кровяное давление и служат тем самым заменителем противопоказанных лекарств. Следовательно, Сталина можно обвинить в психическом убийстве Ленина»*.

(По сообщению М. Никё, опубликованному в альманахе «Минувшее» № 8/1989, Париж, в 1955 г. бывший советский функционер И. М. Гронский, вернувшись с Колымы, сказал Л. Шатуновской, «что Сталин однажды проговорился, что он один знает, как и от чего умер Ленин». В начале 30-х гг. И. М. Гронский был ставленником Сталина, создавал Союз писателей. — Прим. ред.)

В создавшихся условиях самым лучшим Лениным для Сталина был не живой Ленин, правящий в Кремле, а мертвый Ленин в мавзолее. Мертвый мастер может стать вернейшим подручным. Так оно и получилось. Из набальзамированного трупа ненавистного учителя Сталин сделал знамя своего триумфального восшествия к единоличной диктатуре.

Ленин умирал медленной смертью — целых два года. Под постоянными психическими бомбежками Сталина повторялись припадки, мучительные конвульсии, тяжелые

удары, сопровождавшиеся истерическим плачем (да, он плакал, ибо был человеком, а не богом). Но вспоминал ли Ленин на смертном своем одре о тех сотнях тысяч, которых перемолола его безжалостная чекистская машина, и о тех миллионах, которых он загубил голодом во имя и от имени военного коммунизма? Каляла ли в своей каннибальской философии «диктатуры пролетариата», во имя которой можно убивать даже малолетних детей (убийство детей последнего царя вместе с царем и царицей)? Вспомнил ли он о полном негодовании и страшной правды письме, которое направил ему 7 ноября 1918 г.¹² Патриарх Московский и всея Руси Тихон:

13/26 ок. 1918

«Все, взявшие меч, мечом погибнут»
(Мф. 26, 52).

«Но реками пролита кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу... Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями».

Вы обещали свободу... Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали... Употребляющие власть на преследование ближних, истребление невинных». «Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9—10)». Сбываются слова пророка — «Ноги их будут ко злу и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их — мысли нечестивые, опустошения и гибель на стезях их» (Ис. 59, 7). И от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26, 52)».

Никто не знает и не может знать, пока существует нынешний режим, точных данных о людских жертвах России при Ленине. Исследователи называют от 200 тысяч до полутора миллионов человек, ставших жерт-

* Possony A. T. Lenin. Köln, 1965, SS. 484—487.

вами террора, и до пяти миллионов человек, погибших от голода. Для того, чтобы на фоне этой ужасной статистики Ленина можно было объявить — единогласно! — от имени ООН в 1970 г. «великим гума-

нистом XX века», надо было иметь на ленинском троне сравнимого злодея — Сталина, в одной войне загубившего 26 миллионов человек, а в «классовой борьбе» — 50 миллионов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Опубликованные в последнее время материалы позволяют уточнить некоторые догадки, предположения, гипотезы автора статьи.

¹ В первый период болезни (лето 1922 г.) помимо Сталина в Горках бывали Каменев, Зиновьев, Бухарин, Троцкий и др.

² 7 марта Сталин передал через Володичеву ответное письмо, которое не было доставлено Ленину в связи с ухудшением его здоровья.

³ 30 мая 1922 г. Ленин, в ожидании развития болезни, действительно вызвал Сталина и потребовал исполнить обещанную ему ранее Сталиным услугу — доставить цианистый калий. Сталин выразил готовность исполнить требование, но затем сумел убедить Ленина, что выздоровление еще возможно и необходимости в яде пока нет.

⁴ Третье ухудшение началось шестого и в ночь на седьмое марта, завершилось 10 марта поражением речи, чтения, письма, движения; последний удар — 21 января; в предшествующие дни наблюдались не вызвавшие опасения предвестники.

⁵ Ленина перевезли в Горки 15 мая 1923 г.; общение Ленина с сотрудниками его секретариата завершилось 6 марта.

⁶ Эта гипотеза, в особенности относительно Володичевой и Гляссер, нуждается в дополнительной разработке.

⁷ В источниках встречается и другое имя оскорбленного.

⁸ Ср. письмо Сталина Ленину от 7 марта: «Недель пять тому назад я имел бе-

седу с т. Н. Константиновной... по телефону...» («Известия ЦК КПСС», 1989, № 12, с. 193).

⁹ Формальные извинения были приняты: «... Если Вы считаете, что для сохранения «отношений» я должен «взять назад» сказанные... слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя «вина» и чего, собственно, от меня хотят».

Публикация письма сопровождается характеристикой: «автограф». Ср.: В. И. Ленин. Биографическая хроника. Т. 12 с. 592, где отмечено, что письмо Сталин *продиктовал* Володичевой. Если справка составителей Биохроники верна, уместно поставить вопрос: идентичен ли автограф Сталина продиктованному письму?

¹⁰ Данное сообщение, вероятно, опирается на устный источник.

¹¹ Вскрытие тела Ленина было произведено достаточно тщательно, разве что не было сделано (во всяком случае, в многочисленных публикациях протокола вскрытия об этом не сообщалось) токсикологическое исследование.

¹² Имеется в виду Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров, 13/26 октября 1918 г. Автор цитирует Послание в обратном переводе с немецкого. В настоящей публикации Послание цитируется по русскому тексту.

Составил Б. Н. Равдин

Абдурахман Геназович АВТОРХАНОВ (род. ок. 1908 г. в Чечне, в ауле Лаха Неври) — историк, доктор политических наук. В настоящее время живет в Западной Германии. Его работы: «Технология власти» [1955—1957, изд. с добавлениями в 1983], «Сила и бессилие Брежнева. Политические этюды» [1980], «Загадка смерти Сталина (Заговор Берия)» [1981], «Происхождение партократии» (т. 1, 1981 и т. 2, 1983) и другие — давно признаны в западной советологии, где место автора обычно располагают «правее центра». А. Авторханов — автор книги воспоминаний «Мемуары» [1983], значительная часть которой может служить источником для анализа механизма работы аппарата ВКП(б) 30-х — начала 40-х годов.

Предлагаемую здесь статью, с любезного разрешения автора, перепечатаваем (впервые в Латвии и СССР) из нью-йоркского «Нового журнала» [1983, кн. 152].

ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ТРОЦКИЙ...

ДЕФИЦИТ РЕВИЗИОНИЗМА

Как известно, маниловщина является чертой нашего характера. Нас, как никого другого, легко соблазнить какой-либо глобальной идеей. И чем она меньше имеет отношения к жизни, тем лучше. Ибо жизнь у нас всегда прескверная и заниматься ею никому не хочется. Наверное, в России больше всего надо бояться «веры во что бы то ни стало».

Слепая вера может быть и следствием элементарной лени — как освобождение от необходимости думать о мучительных противоречиях человеческой истории и души, защита от тяжелых мыслей, неприятной правды, разрушающей комфорт романтического настроения, как свобода от изучения этого мира, человека, от необходимости докапываться до его потаенных глубин.

В том, что в массе люди у нас хотят не истины, а веры, можно убедиться и сегодня, наблюдая за нынешней политической борьбой. Никто не желает знать, почему мы бедны, почему нас мучает дефицит, в чем причины низкой производительности, спекуляции. Предпочитают не думать, не искать причины болезни, а сразу с ними бороться. Воевать с теневой экономикой, со спекуляцией, мафией, бюрократией, аппаратом, с высокими заработками. История нас ничему не учит. Трагедия 1917 года как призрак висит над нами. Снова призыв «грабь награбленное», снова иллюзия, что чужое добро может кого-то сделать счастливым.

Я думаю, все вожди Октября по природе своей были авантюриста-

ми в политическом смысле слова, то есть людьми, жаждущими бури, провоцирующими бурю. Хотя, полагаю, на фоне других Ленин и Троцкий были более искренни и последовательны в своей вере в марксизм, чем, скажем, Зиновьев, Луначарский, Каменев.

Но все же вера вере рознь. Надо по крайней мере отличать веру в нравственные идеи, в то, что испытано жизнью многих поколений, от веры в различного рода политические мифы.

Когда же речь идет о подвижнической вере в необходимость уничтожения целых классов, разрушения культуры (буржуазной) своего народа, переворачивания вверх дном всего хозяйственного уклада, то слепая, безотчетная убежденность равносильна преступлению. Ведь в этом случае ваше исповедание направлено вовне, затрагивает судьбы многих, касается судеб мира, ставит под сомнение смысл труда и жизни десятков поколений. Она, ваша идея, самим фактом своего существования провоцирует людей на действия. В этой ситуации признаком духовной развитости скорее всего является не вера, а сомнение, способность критически взглянуть на предмет с определенной дистанции, еще раз поразмыслить о том, что на первый взгляд представляется достаточно убедительным.

Когда вы, будучи к тому же материалистом, берете на себя смелость пропагандировать то, чего еще никогда не было, что еще нельзя было проверить на практике, то включение на полную мощь своей способности к интеллектуальному сомнению просто обязательно. Даже если вы удостоверились в том, что люди устали жить по-старому и очень хотят жить по-другому. Хотя бы мысленно

Окончание. Начало см. «Даугава», № 7—8.

убедитесь, что это новое возможно, пусть на минуту, но задумайтесь и примерьте привычки, чувства тех, кого вы хотите облагодетельствовать, к той одежке, которую вы для них шьете. Сам факт того, что люди устали от старой жизни, ненавидят ее, искренне хотят перемен, еще не гарантирует способность жить по-другому, возможность иного существования.

Да, захватить власть мало. Надо еще уметь ее удерживать. Но теперь мы можем сказать, что и этого мало. Ведь главное — на что эту власть употребить.

Поразительно, но Ленин, который так походя бросил Россию в неизвестное, в непредсказуемое, очень любил поговорку «не зная броду, не суйся в воду». Но его трагедия (а теперь уже наша трагедия) состояла в том, что весь его мозг был сконцентрирован на одной задаче, на условиях успешного восстания. Об этом предмете он начал думать рано и весьма обстоятельно. Он знал и понимал, что, затеявая войну, нужно тщательно обдумать всю диспозицию, подсчитать силы у себя и у противника. Принять меры, чтобы не зашли в тыл и не обошли с боков. Нужно уметь нейтрализовать враждебные вам или не понимающие вас силы. Об этом Ленин десятки раз говорил и писал в своих статьях. Но он никогда до революции, до начала гражданской войны не думал всерьез и столь же обстоятельно о способности человека, тем более русского, жить по схемам Карла Маркса. Никогда! Ленин, выросшая из него советская философия всегда размышляли о том, что должно быть, каким должен быть социализм, коммунизм, но не задумывались всерьез об их возможности.

Трудности возникли там, где большевики их не ожидали. Чудо не в том, чтобы с помощью озлобленных солдат и матросов разрушить полуразрушенное государство. Настоящим чудом было бы доказательство возможности иной жизни, возможности осуществления мечты о жизни в достатке, но без бедных и богатых.

Нет ничего опаснее для человечества, чем гордыня, самоуверенность людей, замахаивающихся на весь уклад человеческой истории. Да, исто-

рия не стоит на месте, цивилизацию невозможно сохранить, не отбрасывая периодическое то, что устарело, что мешает жить. Без реформ, а иногда и революции нельзя сохранить духовное здоровье общества. Но как определить, что действительно устарело, нуждается в замене, а что нужно подлечить? Как определить, к примеру, что процесс саморазвития рынка дошел до своего завершения и с этого момента начался спад, идет движение по наклонной плоскости? Ведь природа социальной жизни, как и природа человека, универсальна: наряду с проявившимся существует еще и не проявившееся, этот вечный «кикс», который спутывает все планы честолюбивых всезнающих теоретиков.

Тут роковую роль могут сыграть пристрастия, изначальные установки. Если вы с самого начала убеждены в том, что изучаемый общественный организм приговорен к смерти, а коллизии и конфликты, свидетелями которых вы являетесь, — это уже судороги затухающей жизни, то, конечно же, логично настаивать на насильственном умерщвлении обреченного и связывать все свои надежды с каким-то иным общественным организмом, пусть его никогда и не было прежде. Но если вы хоть как-то, уголком своей души, встроены в общество, в котором живете, хоть что-то цените в сегодняшнем бытии, то, наверное, дадите ему еще один шанс, попытаетесь с помощью реформ высвободить неразвитые потенции. Никто не убедит меня, что люди, всю жизнь ждущие мирового пожара, торжествующие, что в обществе нет согласия, радующиеся любому проявлению классовой ненависти, каждой конфликтной ситуации, являются нормальными, духовно здоровыми людьми.

Не знаю, но мне думается, что для оценки духовных качеств тех вождей Октября, кто подвижнически следовал избранной идее, кто никогда в ней не сомневался, мы должны поискать какие-то другие слова. Понятно, что такое раздираемое противоречиями общество, каким была Россия, не могло не порождать маргинальный, неуравновешенный тип личности, не могло не быть питательной почвой для политического авантюризма. Но при чем здесь все эти сантименты о

просветленных идей социализма? Человеческая фантазия безгранична. Нельзя же каждого юродивого, фантазера превращать в святого. Однажды сделал ошибку, негоже повторять ее до бесконечности. О морали и духовной развитости в точном общечеловеческом смысле слова здесь говорить не приходится.

Сейчас, когда открылись тайны нашей послеоктябрьской истории и мы десятками миллионов исчисляем жертвы пережитых страной в XX веке катаклизмов, когда стало ясно, что построенный Сталиным социализм с самого начала был нежизнеспособен, я все чаще и чаще сожалею, что бацилла ревизионизма так и не прижилась на русской земле.

На то было, как показал в своем исследовании «Истоки и смысл русского коммунизма» Н. Бердяев, много причин. Но факт остается фактом. В Западной Европе вскоре после смерти Маркса марксизм как революционная тотальность рассыпался. Даже ученики, наследники, германская социал-демократия, поспешили выкинуть за борт учение о диктатуре пролетариата, превратив Маркса в цивилизованного европейского реформатора, развивая эволюционный, материалистический аспект его учения. В России же в силу сохранения конфликта интеллигенции с самодержавием, отсутствия в стране политического согласия, напротив, преобладало стремление к тотальному восприятию этого учения. Сначала русские (школа Плеханова) восприняли марксизм по преимуществу со стороны объективно-научной. Но очень скоро на первый план в сознании революционных русских марксистов вышло идеалистическое, мессианистическое начало марксизма¹. Оно больше всего

импонировало мессианистическим настроениям самой русской интеллигенции.

Конечно, все крепки задним умом. Но хоть сегодня мы должны сказать себе правду, понять, что с нами происходило. Причиной миллионов жертв в гражданской войне, ее потрясшей мир жестокости была не только ненависть к бывшим, не только накопившаяся за века унижений и вылившаяся на поверхность злоба, но и твердая вера в то, что можно и нужно выправить из души человека собственнический инстинкт, что оправданы любые действия с целью удержания плацдарма для дальнейшего наступления на капитализм в мировом масштабе.

Не было бы стольких жертв, если бы не убеждение, что новое надо строить только на полностью очищенном поле, что в будущем социалистическом обществе нет места ни, как ее называли тогда, буржуазной, торгашеской кооперации, ни семейному труду на земле, ни чувству хозяина.

Не следует забывать, что всплывшая летом 1918 года классовая борьба в деревне, подлившая масла в огонь начинавшейся гражданской войны, была сознательно спровоцирована городом. Комитеты бедноты создавались не только для того, чтобы отбирать хлеб, но и для того, чтобы, по выражению Ленина, «деревню расколоть», дабы «Октябрьская революция городов была настоящей Октябрьской революцией».

Подвижническая² вера «твердокаменных», особенно на первом этапе революции, брала верх над мыслью во всем: и в оценке готовности мирового империализма к социализму, и в оценке стремления и желания российского рабочего жить и работать по-коммунистически, и в оценке способности людей к инновациям. Наиболее ярким доказательством того, что у старой гвардии вера возоблдала над мыслью, была вторая Программа партии, отразившая надежду сразу же, одним махом перепрыгнуть из России капиталистической в Россию коммунистическую.

Любой здравомыслящий человек должен согласиться с Гавриилом Поповым, что по зрелом размышлении этот документ трудно назвать основательным, логически выверенным.

¹ По мнению Н. Бердяева, идеалистическое начало в теории Маркса многогранно. Оно проявляется не только в его учении о деятельности на основе осознанной необходимости, но и в целом ряде религиозно-мифотворческих моментов. «Маркс, — писал автор, — создал настоящий миф о пролетариате. Миссия пролетариата есть предмет веры. Марксизм не есть только наука и политика, но есть также вера, религия. И на этом основана его сила». (См.: Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. — «Юность», 1989, № 11.)

«Для нас, размышляющих над некоторыми страницами второй Программы через семьдесят лет, — пишет автор, — ясно, что готовый к новому строю старый мир почему-то не рухнул и уступил новой формации... регионы, в которых было много жесточайших противоречий, но явно не было экономической базы социализма... Но, быть может, для своего времени была верной характеристика империализма? Мне кажется, что и тогда, в 1919 году, за готовность империализма к социализму был принят не столько уровень общественного характера производительных сил, сколько глубина тупика, в котором оказался империализм начала XX века, масштаб порожденных этим тупиком противоречий и ужасов. Но тупик строя — это всего лишь довод в пользу перемен, однако еще не аргумент в пользу конкретного варианта перемен. Империализм первой четверти XX века зашел в тупик, но можно ли было считать это доводом в пользу того, что единственный выход — в социализме?»¹

Не составляет труда продемонстрировать, что сомневающийся марксист Эдуард Бернштейн, пытавшийся доказать, что закон превосходства крупного производства над мелким не всеислен, и особенно на селе, пытавшийся в пику Марксу отстоять право фермерского хозяйства на жизнь, был намного более духовно и нравственно развитым человеком, чем Лев Троцкий и все «твердокаменные», которые так и умерли с верой в то, что Маркс был во всем прав, что крестьянин-собственник обречен, что только фабрики зерна, централизованная организация сельского хозяйства в национальном масштабе, раскрестьянивание крестьянина могут спасти страну от бедности².

Сомневающийся ревизионист Бернштейн увидел, к примеру, что

правовые основы так называемого гражданского общества, права несогласного меньшинства, права и свободы личности, к которым многие марксисты относились пренебрежительно из-за их «буржуазного уровня», на самом деле являются фундаментом современной человеческой цивилизации, разрушение которого ведет к самым страшным катаклизмам. Он видел, что замена одного типа классового господства другим мало что меняет и сама по себе к демократии не приводит. Он увидел, что вопреки прогнозам Карла Маркса гражданское, буржуазное общество, складывавшееся столетиями, выдержало напор энтропии, распада, идущий от резервного промышленного населения, от рабочей среды, нашло в себе силы подчинить ее своим ценностям, нормам и принципам, интегрировать в традиционный бюргерский быт. Вопреки легковесным суждениям «твердокаменных», скажем Л. Троцкого, о вечных революциях в морали и в семье, эти общества приходят в XXI век еще более окрепшими, доказав, что к ним нельзя относиться как к «провинциальной условности», что люди, преступившие через «не убий», чаще всего оказываются жертвой своего же нравственного релятивизма.

Мне кажется, Ленин-«отступник», понявший, что жизнь человеческая обладает большей ценностью, чем теоретические догмы, Ленин, заставивший себя уже на смертном одре усомниться в истинности марксовской идеи непосредственного соединения личных и общественных интересов, полного вытеснения стихии из общественной жизни, более человекен. В этом Ленине, который во имя жизни рискнул переступить через авторитет догмы, проявил «беспринципность», я вижу больше души и духовного развития¹.

Даже Бухарину — левому коммунисту, покушавшемуся во время гражданской войны на святая святых, на Родину-мать, даже Бухарину, воспевавшему безумие национального самоистребления², безумие распра-

¹ Попов Г. К чему звала вторая Программа. — «Социалистическая индустрия», 02.04.89.

² «Чтобы освободить крестьянина от давящих его сознание стихийных сил, нужно его раскрестьянить. В этом и есть задача социализма». — Троцкий Л. Д. Скрип в аппарате. Популярное разъяснение о левых и правых.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 43, с. 84.

² «Старое общество, — писал он в предисловии к своей работе «Экономика переходного периода», — и в его госу-

вы, можно простить его грехи тяжкие не только потому, что он был тогда молод, но и за то, что он в двадцатые сумел увидеть в детях и внуках кулаков людей, равных ему, имеющих право, как и он, жить на этой земле, на которой столетиями жили их предки¹.

Но все же главная причина ортодоксальности русского марксизма — в его исходном революционизме, исходном максимализме. Революционеры, подлинныи революционеры, не боящиеся бури, могут воспринимать мир только целостно, ибо революционность, как доказал Д. Лукач, есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни. Поэтому русские социалисты, ставшие на путь вооруженной борьбы, должны были или воспринять марксизм как целостность, даже если он и не был таким, или отбросить его. Ленин, как наиболее целостный, тотальный элемент русской социал-демократии, был просто приговорен развиваться и воплощать в жизнь эти тоталитарные мотивы марксизма. И ему никак нельзя отказать в логике. Если вы стали марксистом, объяснял он свою позицию по этому вопросу Н. Валентинову, то вы обязаны абсолютно всё, включая демократические принципы, подчинять победе пролетариата.

Все это можно понять. Но мы не можем величать вождей Октября, большевиков (в равной мере это относится и к меньшевикам, ко всей русской социал-демократии) подвижниками истины, людьми, ставшими выше всего научный поиск. Воспоминания многих бывших русских социал-демократов дают основание счи-

дарственной, и в его производственной формулировке раскалывается, распадается до самых низов, вплоть до самых последних глубин. Никогда еще не было такой грандиозной ломки. Но без этого не могло бы быть революции пролетариата, который из распавшихся элементов, в новой связи, в новых сочетаниях, по новым принципам строит фундамент будущего общества» (с. 5—6).

¹ Изложение своей теории включения зажиточного крестьянина в социализм Н. И. Бухарин закончил совсем сентиментальной фразой: «В конце концов, может быть, и внук кулака скажет нам спасибо, что мы с ним так обошлись» (Бухарин Н. И. Избранные произведения. — Политиздат, 1988, с. 133).

тать справедливыми обвинения, выдвинутые против них в «Вехах» (М., 1909). Как и все русские революционеры, они истины не искали и такой «слабостью», как сомнение в достоверности своих знаний, своей доктрины, не страдали. Истину заменяла им мечта о полном равенстве. В среде русских социал-демократов, писал в своих воспоминаниях о Ленине Н. Валентинов, не поощрялось серьезное увлечение историей, философией, а тем более споры о научности теории Маркса. «Не по чину берет», — обычно говорилось в этих случаях.

Этим же принципом отсеечения всего, что может расплавить душу, подорвать веру в истинность марксизма, в справедливость якобинства, руководствовался, по свидетельству В. В. Воровского, и Ленин. Он делил литературу на нужную ему и ненужную. Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера он не читал. В разряд «ненужных» писателей в первую очередь попал Ф. М. Достоевский. Для чтения всех сборников издательства «Знание» время нашлось, а вот Достоевского он сознательно игнорировал: «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из мертвого дома» и «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не стал. Содержание обоих пахучих произведений, заявил он, мне известно, и достаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов», то это явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, теряя на нее время абсолютно никакой охоты нет — перелистал книгу и швырнул в корзину.

Можно ли назвать честным мыслителя, политика, который сознательно отторгает от себя противоречащие его вере знания? Нельзя назвать духовно развитым человека, который лишает себя и других права на самостоятельный поиск истины, не хочет знать то, что не укладывается в его схемы. Ортодоксальность русских марксистов скорее всего свидетельствует об их фанатизме, сектантстве.

¹ См.: Валентинов Н. Встречи с Лениным. — Нью-Йорк, 1979, с. 59.

В равной мере это относится и к Ленину, как наиболее одержимому догматику. Он долго, вплоть до кризиса весны 1921 года, настаивал на том, что «Маркс и Энгельс наметили и сказали все, что нужно сделать», и «ничто в марксизме не подлежит ревизии»: ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата.

Впрочем, чему удивляться? Если и сегодня (когда испытание России революцией, в сущности, поставило точку над «») верующих в Маркса, не терпящих сомнений в принципах марксизма пруд пруди, то почему не должны были защищать свою веру те, кто начинал революцию, кто еще мог надеяться, что они умнее Достоевского и все обойдется.

Это Сталин убедил всех, что Ленин был гений, которому было подвластно все. Прислонившись к Ленину, он стал гениальноподобным. Но раньше, до революции, никто не считал Ленина гениальным философом или мыслителем. Тем более никто всерьез не воспринимал теоретические исследования Троцкого, Зиновьева, Бухарина.

Бесспорно, что вожди русской социал-демократии, а тем более Октября, многие из которых появились на поверхности политической жизни России только в 1917 году, сознательно «отпихивали» от себя ту литературу, где речь шла о логических дырах в теоретических построениях Карла Маркса. Неоспоримо, что они не владели в совершенстве философской, духовной культурой эпохи, не откликнулись умом и душой на ту правду социального бытия, которая была открыта в их время. Не подлежит сомнению, что вожди большевизма, как и все революционеры, страдали прямолинейностью, видели мир, общество только под одним, классовым углом зрения, а все их мысли и чувства были приспособлены прежде всего к технике революционной борьбы.

В сложившейся ситуации духовный выбор упростился до предела. Или стать революционером и, руководствуясь марксистским учением о пролетарской революции как локомоти-

ве истории, двигать начавшуюся в России пролетарскую революцию вперед. Или стать академическими учеными, наблюдающими за революцией со стороны. Революция 1905 года навсегда разорвала тонкие мировоззренческие нити, связывавшие легальное крыло марксизма с боевым. Легальные — под впечатлением, как тогда казалось, неописуемых ужасов революции — окончательно порвали с марксизмом¹, боевые — стали служителями и подвижниками марксистской идеи.

ДИКТАТ ГОРДЫНИ ВМЕСТО АВТОРИТЕТА ИСТИНЫ

«Кто же виновник умственного декаданса русской социал-демократии? .. — спрашивал Николай Бердяев. — Виновник этот очевиден — самодержавие и его изуверства, определившие характер русской революции. Реакционные насилия правительства систематически культивировали идею социальной революции и воспитывали ту психологию, в которой страсти политические переходят в страсти религиозные, а политики превращаются в фанатиков».

Точно так же объяснял свой революционный выбор Ленин, многие «твердокаменные». Мол, в России нельзя быть честным человеком, не будучи революционером. Но трагедия России, впрочем и трагедия «твердокаменных», состояла в том, что эти люди, даже если они и становились на подвижнический путь революционера по зову сердца, как Ленин, ничем не могли ей помочь. Их революционность вела к ослеплению, к классовому подходу.

Конечно, сейчас трудно выяснить, чем в действительности были вызваны фанатизм, ослепленность большевиков — то ли революционным сердцем, то ли элементарной гордыней, самовлюбленностью, нежеланием считаться с мнением дру-

¹ С точки зрения Николая Бердяева, вообще нельзя развивать марксизм, оставаясь марксистом, ибо «всякое усилие свободной мысли ведет к решительному кризису и разложению доктрины» (Бердяев Н. К истории и психологии русского марксизма. Опыт философские, социальные и литературные (1900—1906). — Петербург, 1906, с. 384).

гих, с неприятными для них истинами, а может быть, в конце концов, недостатком умственного развития. Понятно, что революционный фанатизм у Ленина имел совсем другую подоплеку, чем у Пятакова, Ольминского, Троцкого. Но сейчас эти частности не так уж важны.

Важно осознать, что изнанкой революционного максимализма, изнанкой якобинства являются гордыня, самоуверенность, которые никак не могут быть отнесены в разряд человеческих достоинств, а напротив, должны быть осуждены как проявления аморализма, духовной неразвитости. Нельзя, не зная броду, не думая о последствиях, переступать через складывавшиеся тысячелетиями устои общества, принципы и ценности цивилизации. Если ты не в состоянии укротить в себе бесов, свою самоуверенность, гордыню и жестокость, то ты, естественно, ненешь личную ответственность за все, что ими, бесами, было порождено, с ними связано. Если хочешь большего, чем отмерено человеку, если хочешь быть богом, то и судить тебя надо судом божьим.

Сегодня нам уже доступны многие, самые разнообразные суждения о природе и мотивах большевистского радикализма, но думается, что точнее, чем сказал о нем Ф. И. Шляпин, не скажешь. «Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, — писал он, — чтобы не заметить, что в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Не простые же это были, в конце концов, «воры и супостаты». Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить «башню до небес» — Вавилонскую башню!.. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, как человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой, — они должны рвануться в будущее семимильными шагами... «Отречемся от старого мира» — и вот надо сейчас

же вымести старый мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки. И главное — удивительно знают все наши российские умники. Они знают, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского; знают, как научить зайца зажигать спички; знают, что нужно этому зайцу для его счастья; знают, что через двести лет будет нужно потомкам этого зайца для их счастья. Есть такие заумные футуристы, которые на картинах пишут какие-то сквороды со струнами, какие-то треугольники с селезенкой и сердцем, а когда зритель недоумевает и спрашивает, что это такое? — они отвечают: «Это искусство будущего...» Точно такое же искусство будущего творили наши российские строители. Они знают! И так непостижимо в этом своем знании они уверены, что самое малейшее несогласие с их формулой жизни признают зловредным и упрямым кощунством и за него жестоко кают.

Таким образом произошло то, что все «медали» обернулись в русской действительности своей оборотной стороной. «Свобода» превратилась в тиранию, «братство» — в гражданскую войну, а «равенство» привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и «любовь к будущему человечеству» вылилась в ненависть и пытку для современников¹.

Конечно, более все в больном, раздираемом социальными конфликтами и противоречиями обществе болезнью якобинства одновременно, страдай все гениальной или негениальной невменяемостью, надо было бы поднять руки вверх и стать на точку зрения О. Лациса, что действия и поступки большевиков неподсудны ни суду разума, ни суду совести, а справедлива сакраментальная формула: «Что было, то было». Но, к счастью, потому-то и сумело человечество с его цивилизацией и культурой выдержать напор якобинства, фашизма, что даже в критических ситуациях находятся люди, способные совладать с бесами души, устоять

¹ Шляпин Ф. И. Маска и душа, с. 241.

перед соблазном топорных решений, совладать с ненавистью и жестокостью. В конце концов, срыв общества в хаос возможен в любой момент, с любой высоты цивилизованного развития, как только зрячие уступят власть невидящим и образуется перевес жаждущих невозможного. Именно в силу того, что в любой, самой критической ситуации существуют духовный выбор, альтернативные способы осмысления действительности, мы вправе осуждать тех, кто не хотел серьезно мыслить, кто оказался рабом своей гордыни, не желал слушать других.

Разве не предупреждали Карла Маркса многие его современники-социалисты, что учение о диктатуре пролетариата оправдывает деспотизм революционных диктаторов, рождает диктаторов, поощряет насилие над человеком? Предупреждали. Но Маркс был убежден, что только ему доступна истина — все врут, а он один правду знает. Можно ли его за эту уверенность, за это высокомерие осуждать? Несомненно. Трагедия Маркса как ученого сама по себе является стимулом к пробуждению мысли, совести.

Разве не предупреждали Ленина, что его приверженность к жесткому централизму, к якобинским методам борьбы погубит и русскую социал-демократию, и Россию? Предупреждали. И тогда, когда почки его большевизма только-только проклюнулись. Видящих опасность большевизма больше всего было среди русских социал-демократов. Это предчувствие катастрофы и породило меньшевизм.

П. Б. Аксельрод, наверное, тоже пришел к социализму, полагая, что в России честный человек должен быть революционером. В этом своем выборе он был духовно близок к другим вождям меньшевизма — Плеханову, Потресову, Мартову. Но ведь у него, у Аксельрода, хватало духовного развития, чтобы с самого начала, еще в 1903 году, увидеть, чем обернется большевистская тактика Ленина для России, что стоит за его якобинством. В своих двух больших статьях, напечатанных в «Искре» под названием «Объединение российской социал-демократии и ее задачи» (15 декабря 1903 г., 15 января 1904 г.), Аксельрод убедительно доказал, что

большевизм превратит партию «в якобинский клуб, организацию революционно-демократических элементов буржуазии, ведущую за собой наиболее активные слои пролетариата», что ленинское учение о властном органе «Искре», держащем в своих руках все нити движения, по сути является «организационной утопией теократического характера». К этой перспективе, кончая свою вторую статью, автор сделал дополнение, всем своим жалом, ясно, резко направленное против Ленина. Аксельрод писал, что проказница история поставит во главе этого якобинского клуба «не просто социал-демократа, а самого что ни на есть «ортодоксального» (по его происхождению) марксиста», то есть Ленина.

Как Ленин ответил на это и множество других предостережений о грозящей ему лично и его делу опасности, о том, что он становится в России сознательным строителем новой диктатуры, нового закрепощения страны? Как всегда: обвинил Аксельрода в «тупоумии», «гадости», в измене делу рабочего класса и т. д.

Принято считать, что сам Ленин, другие представители ленинской гвардии, за редким исключением, не были жестокими людьми, а напротив, сентиментальными, сердечными, добрыми. Достаточно много известно о мягкосердечии Бухарина. Вот и Н. Бердяев в своем описании Ленина специально оговаривается, что «Ленин проповедовал жестокою политику, но лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно. Но сам он, вероятно, не мог бы управлять Чека».

Что ж, с этим можно согласиться. Но, на мой взгляд, сам факт неучастия вождя революции в террористических актах — еще не свидетельство его добросердечия. Н. Бухарин призывал к крови, но сам ее боялся. Л. Троцкий призывал к крови, к репрессиям и сам не боялся, как он говорил, «запах дымящейся крови», лично принимал участие в расстрелах, за что его и окрестили расстрельщиком. Но вряд ли кто-ни-

будь сумеет мне доказать, что Н. Бухарин объективно был менее жестоким, чем Л. Троцкий.

О душе вождей, идеологов, теоретиков надо судить не по их поведению в быту, хотя и это имеет значение, а по их идеям, по тому, что они сеют в душах людей. Если, как пишет О. Лацис, на местах из-за провинциального усердия и глупости необходимая мера террора превышалась тысячи раз, то в этом повинны не местные «головотяпы», различного рода Пиюси, а прежде всего идеологи, избравшие террор в качестве метода лечения России, звавшие к террору, к топору. Прежде чем призывать к якобинству, они должны были осознать, что рождает в душах людей пропаганда якобинских идей, во что они выльются в жизни.

Разделение труда между теми, кто сеет семя ненависти и жестокости, и теми, кто своими руками осуществляет пролетарский террор на практике, — только уловка. Она давно избличена Достоевским в «Братьях Карамазовых». Не случайно ленинская гвардия терпеть не могла Достоевского. Он заглянул им в души и увидел то, в чем им самим трудно было признаться. Убийцы, то есть «активисты», «передовое мясо», — раскрывает в деталях этот открытый в «Братьях Карамазовых» механизм Юрий Карякин, — как правило, не являются идеологами, даже если они достаточно образованны. Только в этом смысле и только в этом подобные идеологи — не убийцы, а убийцы — не идеологи. «Между ними, — пишет Ю. Карякин, — есть своеобразное, доказанное всей историей «разделение труда». Одни работают пером, другие — топором, но то, что написано пером одних, и доделывается топором других. В таком «разделении труда» скрыты двоякий соблазн и двоякая опасность; они делают одно и то же дело, но вдохновитель облегчает себе свой «труд» именно тем, что он не исполнитель, а исполнитель — тем, что он не вдохновитель. Один сохраняет «чистыми» свои руки, другой «совесть». Каждый «берет» грехи другого на себя, зато свои грехи взваливает, сваливает на другого. Благодаря этому — безответственность и энтузиазм (вернее, безответственный энтузиазм) обоих увеличивается в геометрической

прогрессии... Все «чисты», а в итоге — всеобщая грязь и кровь».

Жестокость рождает жестокость. Ты жестокость против лжи тех, кто хочет тебе навязать новых кумиров. Ты избличаешь пороки этих по сути порочных честолюбцев, разрушителей твоей страны. Но в итоге сам ожесточаешься, сам становишься пленником классового подхода назиданию.

Публицисты, поставившие перед собой задачу моральной реабилитации соперников Сталина в борьбе за власть, стремящиеся убедить себя и читателей в том, что жертвы были нравственнее, чем их палач, а все наши беды от того, что мы лишились «твердокаменных» с их умом и сердцем, совершают тяжкий грех прежде всего по отношению к этим несчастным. Разумом понимаешь, что нужно уважать людей, с именем которых связаны многие значительные события в истории твоей страны. Но сердце молчит, и почему-то трудно доказать, что эти люди, в отличие от Сталина, были какие-то особенные, чистые, были подвижниками и служителями идеи, обладали и развитым умом и тонкой душой. Чем больше юпитер обостренного интереса к истории высвечивает забытые или неизвестные послеоктябрьские страницы, тем труднее согласиться, что до Сталина властвовала истина социализма и только из-за этого «provokatora» все сорвалось и полетело в тартарары.

Грешен я. Но мне уже не надо любить тех, кто сознательно разжигал костер гражданской войны, чванился, что ее не боится, считал возможным за плохую работу наказывать расстрелом. Конечно, кому-то и сегодня, в конце двадцатого века, дано гордиться тем, что в истории были такие люди, как Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Радек и др. Не завидую. Могу понять, почему они были такими, какими были, но поверить, что им было присуще развитое нравственное чувство, не в состоянии.

Да, можно постараться понять этих несчастных — они взвалили на себя непосильную для человека ношу, уверовали в то, что им дано переде-

Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. — М., 1989, с. 195—196.

лать мир, переделать природу человека.

Можно объяснить, почему они стали такими.

Можно найти десятки объективных побудительных причин их поступков.

Но я глубоко убежден, что нормальный, духовно здоровый человек сегодня уже не сможет так любить Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, как их любили в двадцатые. Ни один здравомыслящий человек ныне не станет утверждать, что эти вожди обладали всеми необходимыми качествами, чтобы осознавать последствия содеянного ими, видеть опасности, подстерегающие Россию, которая решилась на скачок от капитализма к коммунизму.

А попытки нажать на психику, доказать, что «твердокаменные» принадлежали к другой, несталинской породе, были бескорыстными служителями и подвижниками идеи, неизбежно вызывают протест. И невольно приходится снова вспоминать о том, о чем вспоминать не хочется, — все эти борцы с мешанством, за редким исключением, были жертвами того же мешанства, в образе жизни Троцкого, Сталина, Каменева, Зиновьева, Луначарского было много от старого русского барства: та же страсть к охоте, те же дамы в платьях с рискованным декольте, слуги, вечеринки, та же любовь к роскоши, всевозможным благам. Все это началось уже в годы гражданской войны. А потом постепенно становилось укладом жизни.

17—21 марта в письме к неустановленному лицу в Петроград В. Г. Короленко пишет: «... Нервы притупились. В среде рабочих и простого народа поворот против большевиков. И дело не в программах, а просто в «бытовом явлении». У хлеба хвосты стоят уже и у нас. И в это время подъезжает автомобиль, приостанавливаются все очереди, накладывают полный автомобиль припасов и уезжают... «Это для большевиков». В толпе ропот. При прежнем режиме это умели делать приличнее, не так грубо. — Третьего дня к бедному рабочему, зарабатывающему пилкой дров, пришли два «красных гусара». Они и гулять ходят вооруженные. Потребовали денег. Тот отдал 10 рублей. Обиде-

лись и, не говоря худого слова, один застрелил хозяина. Его товарища задержали, убийца бежал»¹.

В те самые вечера, когда В. Г. Короленко мучался мыслями о судьбах искалеченной гражданской войной страны, о гибели сотен тысяч ни в чем неповинных людей, об умерших от голода, тифа, от случайной пули, когда волны террора, разных цветов и оттенков, накатывались одна за другой и писатель надеялся, что крик его души, уставшей от безумной братоубийственной войны, от кошмаров бессудных расстрелов, найдет отклик у адресата его писем, у его прежнего коллеги, литератора, а ныне всемогущественного комиссара А. В. Луначарского... тот просто развлекался.

Свидетельствует В. Ф. Ходасевич: «В конце 1918 года... С Неглинной прошел по сугробам к себе на Девичье Поле, а вечером — с Девичьего Поля в Кремль. Дверь Каменевых — в самом конце Белого коридора, направо... Вдруг шум, восклицания, смех в столовой — и разом вваливается целая кавалькада: Иван Рукавишников в своем зеленом френче, за ним Луначарский, сияющий, оживленный, между двух дам: одна — жена Рукавишникова, в черном шелковом платье с бесчисленными оборками, с огромным вырезом на груди, другая — секретарша Луначарского, с длиннейшим, словно прикрепленным носом. Вполне придворная, она в точно таком же платье, как госпожа Рукавишникова, только вырез гораздо меньше. Очевидно, эту кампанию ждали. В комнате прибавляют света, мужчины осаняются, дамы щебечут...»²

Повторяю, «твердокаменные», старая гвардия, были люди как люди. И за это вряд ли их можно осуждать. Они, как и все, и в условиях гражданской войны стремились сохранить тот быт, к которому привыкли, максимум комфорта. Но у них, к примеру у Зиновьева, Каменева, не было чувства меры, которое отличает интеллигента от провинциального обывателя. В голод, когда люди мерли как

¹ В. Г. Короленко в годы революции, с. 93—94.

² Ходасевич Владислав. Белый террор. — «Советская Россия», 1989, 12 марта.

мухи, и хозяин Петрограда и хозяин Москвы, некогда тонкие, подвижные юноши, превратились в настоящих борцов. Троцкий даже в своей книге «Моя жизнь» не преминул вспомнить про обожрство Зиновьева. В воспоминаниях Бориса Зайцева (о М. О. Гершензоне) все время на первый план выпирает внешне буржуазное благополучие Л. Б. Каменева, довольство им жизнью, которое явно контрастировало с его ролью первого коммуниста Москвы.

Надо ли было уничтожить, покалечить миллионы людей, чтобы один тип унижения сменился другим, и теперь унижению подвергались и страдали самые талантливые, соль земли? Ничего нельзя понять в этом мире!

Неясно только, почему ленинская гвардия ополчилась на старый мир, остатки которого пыталась присвоить себе, почему так активно настаивала на необходимости разрушения старого, буржуазного, мещанского мира. Зачем стремились преодолеть «барское эстетство» предреволюционной поры, требовала переделки человека и мира, так активно боролась за новую пролетарскую культуру, новый, пролетарский образ жизни, если сама никогда к нему не стремилась.

Доведись нам сегодня сравнивать нравственное развитие В. Г. Короленко и А. В. Луначарского, то, наверное, нетрудно было бы доказать, что первый, еще в 1920 году осознавший все страшные последствия принципа «во имя», действительно принадлежал к особой породе людей, к рыцарям морали и справедливости, что же касается второго, так и не нашедшего в себе душевных сил, чтобы поразмышлять вместе с В. Г. Короленко о драме нашей революции, о диалектике насилия во имя свободы, то я не вижу оснований, чтобы считать его более духовной личностью, чем Сталин или Молотов.

Ходасевич прав. Почему естественные материнские чувства такой банальной женщины, как О. Д. Каменева-Троцкая, не могущей нарадоваться умом и классовым чутьем своего сына Лютика¹, вполне вписывались в

новую классовую мораль, а естественное стремление миллионов других матерей видеть живыми своих сыновей — во имя этой же морали игнорировалось? Почему надо было убить сотни тысяч юношей, ровесников Лютика, ради того, чтобы он сам, сын первого коммуниста Москвы, имел право устраивать попойки.

Нет! Хватит лукавить. Революция — это не землетрясения, как недавно заметил один мой оппонент Владлен Сироткин. Революции делают людьми и почти всегда сознательно. Убийцу нельзя называть спасителем, каждый человек несет за свои поступки ответственность, кем бы он ни был и под влиянием каких бы обстоятельств ни находился. Нет людей, которые бы не подлежали суду совести. Палач есть палач. А освободитель всегда освободитель. Никогда, ни при каких условиях ложь, обман, систематическое насилие

комнату ввалились два красноармейца с винтовками... У одного из них в руках был пакет. — Товарищу Каменеву от товарища Ленина... Приказано в собственные руки. Нам наемники попали за то, что вашему сынку отдали. — Ольга Давыдовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет!.. Она снова садится перед камином и говорит: — Экие чудачки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверять решительно все что угодно. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса». Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда два раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика... «Вот тебе на! — думаю я. — Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть, отбывает каторгу, может быть, рискует жизнью, а потом, когда партия приходит наконец к власти, — пронцательный мальчишка, чуть ли не озаренный свыше, этоткий домашний оракул, объявляет его «предателем рабочего класса» — и мальчишке этому верят».

¹ Опять из воспоминаний В. Ходасевича в той же работе: «... Не стучась, в

над личностью не могут быть рычагом прогресса.

Трудно, очень трудно молиться за палачей. Да и надо ли? Ведь по их вине, как писал сам Максимилиан Волошин: «Стал человек — один другому — дьявол».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КЛАССОВОГО ПОДХОДА

Если мы действительно стремимся к правде, то должны сказать себе самую главную правду. Нельзя говорить о моральности людей, которые когда-то, еще в молодости, сознательно, в полном здравии повторяя Маркса, сказали себе, что нет закона, нет преступления, нет нравственных норм, а есть только законы истории, интересы освобождения пролетариата. Молодой Ленин был искренен, когда вслед за Зомбартом настаивал на том, что «в самом марксизме от начала до конца нет ни грана этики», что «в отношении теоретическом — «этическую точку зрения» он подчиняет «принципу причинности»; в отношении практическом — он сводит ее к классовой борьбе».

Но если вожди большевизма сами добровольно стали по ту сторону добра и зла, то зачем насилловать историю нашей партии, страны и рассматривать их действия и поступки в рамках той системы координат, которую они не приняли, ни в грош не ставили.

Духовная развитость личности отнюдь не значит, что ты всегда и везде должен идти вслед революционным настроениям масс, их нетерпению, очерта голову бросаться в пучину борьбы. Напротив — именно духовная и нравственная развитость человека часто обуславливает прямо противоположный тип поведения. Речь идет о тех случаях, когда есть основания предполагать, что эскалация революционного нетерпения приведет к хаосу, к разрушению основ человеческого бытия, к катастрофе. По крайней мере для меня очевидно, что русский писатель В. Г. Короленко, стремившийся в меру своих возможностей остановить

надвигающийся погром России, грабеж награбленного, понимавший, что ненависть и потребность в расправе никак не могут быть стимулами прогресса, был в нравственном отношении намного выше, чем русские адвокаты и публицисты, социалисты, вожди Октября, сознательно бросившие в топку истории ненависть и озлобление российского бедняка, его желание пограбить богатого. При сооставлении с В. Г. Короленко, с его безупречной нравственной позицией, конечно же и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев, и Свердлов, и Радек, и Луначарский, и Сталин — близнецы-братья.

Если вождям Октября было позволено в 1918 году, вопреки представлениям о праве морали и справедливости, экспроприировать у имущего крестьянина плоды его труда, а во многих случаях и жизнь отнять, то почему же Сталину в 1929 году не было позволено, опять-таки вопреки этим представлениям, сделать то же самое? И в первом и во втором случае соображения морали и справедливости были принесены в жертву интересам революции, быстреего преобразования классовой структуры России.

Никто никогда не докажет, что есть какая-то существенная, принципиальная разница между действиями будущего красного маршала Тухачевского, который в 1918 и в 1919 гг. с помощью армейской артиллерии подавлял, расстреливал крестьян, пожелавших, чтобы плоды их труда принадлежали прежде всего им самим, и действиями сталинских карателей, которые уничтожали восставшие против насильственной коллективизации деревни.

Никто никогда не докажет, что Оргбюро ЦК РКП(б), призвавшее 6 января 1919 года «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно», «массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью», было более нравственным и гуманным учреждением, чем сталинское Политбюро, поставившее в 1929 году задачу добиться ликвидации кулачества как класса. И в первом и во втором случае руководители партии были убеждены, что история вручила им право распо-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. I, с. 440—441.

ряжаться судьбами людей, определять, кому остаться на этой земле, а кому погибнуть. С нравственной точки зрения и руководители 1919 года, и руководители 1929 года были преступниками, развернувшими геноцид против собственного народа.

Призывы к репрессиям по отношению к поверженным руководителям оппозиционных движений в партии раздавались задолго до того, как «победил сильнейший». Еще в 1924 году, например, Л. Б. Каменев настаивал на расправе с руководителями троцкистской оппозиции, и это вполне соответствовало умонастроениям эпохи. Вспомним, что всего за несколько лет до этого анархист матрос Железняков, начальник караула, охранявшего Учредительное собрание, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей. А экономист, коммунист Л. Крицман в книге «Героический период великой русской революции», книге, которая была в буквальном смысле слова одой революционному насилию, предлагал измерять нравственный уровень революции количеством жертв, разрушением исторически сложившейся структуры общества, уничтожением непролетарских классов: «...беспощадная классовая исключительность, социальное уничтожение классов эксплуататоров было источником высокого нравственного подъема, источником страстного энтузиазма пролетариата и всех эксплуатируемых». И далее: «Клеймо принадлежности к классу эксплуататоров могло открыть лишь дорогу в концентрационный лагерь, в тюрьму и, в лучшем случае, в лачуги, оставленные переселившимся в лучшие дома пролетариями».

Вот они где, истоки сталинизма. Вот где причины терпимости к сталинским преступлениям многих представителей старой большевистской гвардии. Никто, конечно, не снимает вины с тирана, но все же основная вина — на принципе «во имя». Причина всех наших трагедий в убеждении, что счастье будущих поколений оправдывает террор, насилие над ныне живущими.

В том-то и состоит трагедия тридцать седьмого, что палачи и жертвы

мыслили одинаково, были поражены одной и той же болезнью — жадой насилия, стремлением кровью сцементировать фундамент победившей революции. Оторопь берет, когда читаешь книгу соратника Л. Д. Троцкого Карла Радека «Портреты и памфлеты». Как можно воспевать насилие, смерть, как можно так мыслить, учить детей ненависти! Карл Радек призывал привлекать детей к участию в процессе над «спецами» буржуазной интеллигенции, работающей на советских заводах, радовался тому, что пионеры, как и их родители, жаждут расстрелов. «... Попробуйте изолировать ребят от таких событий, как процесс вредителей», — восклицал этот воспитатель подрастающего поколения. — Ведь «среди детей, которых я знаю, — доказывал он, — помилование вредителей вызывало целую бурю негодования. Как же это: предали страну, хотели обречь на голод рабочих и крестьян — и не были расстреляны».

Если ленинское руководство партии и правительства, причем единогласно, оправдало, признало целесообразным применение репрессий по отношению к невинным детям, которые имели несчастье родиться просто наследниками, быть детьми царя, то почему Сталин не имел права применить репрессии по отношению к тем своим политическим противникам, кто открыто выступал против него? И Ленин со Свердловым руководствовались так называемой политической целесообразностью, и Сталин тоже. И ленинская гвардия в период гражданской войны руководствовалась методом террора-устрашения, и Сталин. Те, кто оправдывает «красный террор», должны быть последовательны. Если они прощают ленинской гвардии убийство людей только за принадлежность к правящим классам, то по этой же логике должны простить Сталину убийство крестьянина-частника.

Логика тут одна — надругательство над законом, над моралью, над принципами человеческого общечеловечия. И в первом и во втором случаях действовал принцип «Бога нет, закона нет, морали нет — все позволено». Элементарная уголовщина. Красный террор является таким же разбоем среди бела дня, такой же уголовщиной, как и сталин-

ский террор. Очевидно, что в условиях абсолютного всевластия тех, кто стоял на капитанском мостике, при отсутствии механизмов сдерживания, любое насилие, любое преступление можно было оправдать или политической целесообразностью, или высшими интересами истории.

Кто сказал, что всевластие Троцкого или Зиновьева было бы более оправдано, чем всевластие Сталина? После того как было совершено вооруженное восстание, ни о какой законной власти вообще речь не могла идти.

На протяжении всей советской истории, после разгона Учредительного собрания, практически до первого съезда народных депутатов у нас в стране власть не была легитимизирована. Она оставалась тем, чем была во времена Ленина, то есть властью, захваченной вооруженным путем, которая держалась прежде всего благодаря устрашению народа карательными органами. Людей, определяющих судьбы страны в течение десятилетий, никто не избирал. Первым избранным в соответствии с демократическими нормами руководителем стал у нас М. С. Горбачев. Вот почему нет оснований полагать, что власть Троцкого или Зиновьева была бы более законной, чем власть Сталина. Любой руководитель, пришедший на смену Ленину, вынужден был удерживать рычаги в своих руках с помощью тех же подвалов устрашения. У власти, захваченной яковинскими методами, нет другого выбора. Стал бы, к примеру, Троцкий прибегать к репрессиям, как группа Сталина? Я не рискнул бы ответить отрицательно. Пляска смерти, которую эти люди устроили в России, не дает мне оснований верить в их совесть и разум.

Мой основной тезис: все без исключения представители ленинской гвардии, все без исключения российские и нероссийские поклонники диктатуры пролетариата были больны пристрастием к расстрелам. Самым эффективным методом решения социальных и экономических проблем они считали пулю. Все они сделали ставку на насилие, диктат власти, жестокость как на основное средство достижения своих политических целей, во имя которых были готовы на самую разнузданную уголов-

щину. В этом суть яковинства, которым они так гордились.

Террор — всегда безумие, срыв плотины, сдерживающей зверя в человеке. В своей статье «Поговорим о свободе» писатель Вячеслав Кондратьев, близкий мне по убеждениям, приводит много свидетельств нравственного протеста против репрессий ЧК, протеста, исходившего от коммунистов. Старый социал-демократ Ольминский обращал внимание чекиста Шкловского, что «можно быть разных мнений о красном терроре, но то, что сейчас творится в провинции, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина». В феврале 1923 года в знак несогласия с беззаконием карательных органов революции покончил с собой выстрелом в висок один из ревизоров комиссии по обследованию ГПУ коммунист Скворцов, бывший рабочий. Это было в том же году, когда другой коммунист — В. Зазубрин в повести «Щепки» со сладострастным восторгом описывал работу чекистов на фабриках смерти. В отличие от этого певца чекистских подвалов рабочий Скворцов пожертвовал жизнью, чтобы привлечь внимание к уголовным приемам ЧК. В предсмертном обращении к Президиуму ЦК РКП он писал: «Товарищи! Поверхностное знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране завоеваний трудового народа, обследованиях следственного материала и тех приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения, как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению тов. Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я принимал бессознательное участие, числясь ответственным работником компартии. Искушая смертью свою вину, я шлю вам последнюю просьбу: опомнитесь, пока не поздно, и не позорьте своими приемами нашего великого учителя Маркса и не отталкивайте массы от социализма»¹.

Не было бы всех этих преступ-

¹ Цит. по: Кондратьев Вячеслав. Поговорим о свободе. — «Литературная газета», 1989, 24 мая, с. 11.

лений, по крайней мере в таких размерах, если бы не идущее от марксизма, гипертрофированное на русской почве убеждение, что есть класс, который имеет право решать судьбу всех других классов, если бы не это идущее от марксистского выскомерия разделение общества на прогрессивные и реакционные классы: одни представляют собой ум и сердце истории, другие якобы обречены на исчезновение.

Марксистское учение об антагонистических классах по сути тот же разизм, и слабо замаскированный. Кстати, на это первым обратил внимание М. Бакунин. Я не вижу разницы между учением о высших и низших расах и учением о прогрессивных и реакционных классах, твердящим, что есть классы и целые социальные, которые, мол, неположены в политическом и социальном положении и обречены исчезнуть с лица земли.

Учение об исторической миссии пролетариата, о неизбежности и неотвратимости коммунизма, как это ни покажется неожиданным, по социальной сути своей, по логике построения является все тем же примитивным допотопным рассуждением о белой и черной кости. Только в перевернутом виде. Ведь не случайно поется в «Интернационале»: «Кто был никем, тот станет всем». Кто же теперь станет «никем»? Все по-старому. Только логика эта с обратным знаком. Некоторые бывшие рабочие, парикмахеры, адвокаты и фармацевты живут отныне в царских дворцах, а остальные рабочие — еще хуже, чем при царе. Не все же у нас идиоты, чтобы верить, что нищенское существование от зарплаты до зарплаты и есть рай на земле. Белой кости дорога в подвалы или лагеря. Одному только бедному крестьянину некуда податься. Он как был несчастным в самом низу, так внизу, всеми презираемый, и остался. И тут нет ни грана преувеличения. Марксизм действительно является социальной логикой упрощения, примитивизма.

Коль скоро есть классы, которые обречены и по сути своей реакционны, то почему бы не помочь прогрессу, движению истории? Вот вопрос, поскольку вышедши на котором даже самый образованный че-

ловек скатывается на путь уголовщины.

Все равно, как вы будете оправдывать насилие над себе подобными, утверждать свое право творить новую историю, новый, «чистый» мир, где нет места классам-неудачникам, тем же мелким буржуа, торговцам, крестьянам-единоличникам, священнослужителям, «гнилой интеллигенции».

Если этот язык покажется вам недостойным марксиста, то можете изложить сию идею так, как ее излагал на языке классовой теории видный чекист Мартын Лацис в своей статье «Красный террор» (ноябрь 1918 г.): «Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, каково он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора»¹.

В конце концов, наша богатая на воображение революция выработала и вполне технологичный, естественно-научный способ выражения этой идеи «преодоления» классового общества. «Публичные казни», теоретизирует чекист Срубов, герой повести «Щепки», оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем. Казнь негласная, в подвале (. . .) без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. . . После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно. . . Срубов мечтает, что когда-нибудь просвещенное человечество будет «освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий». Тогда, как он полагает, не будет подвалов и «кровожадных чекистов». Ученые, надеется чекист

¹ Цит. по: «Литературная газета», 1989, 24 мая, с. 11.

Срубов, «совершенно бесстрашно будет погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонкок начнут обращать их в вакуу, вазелин, в смазочное масло»¹.

Учение о классах и классовой борьбе, внедряясь в сознание, калечит душу человека, превращает его в нечеловека. Особенно пагубно действует оно на ребенка, на неокрепшую душу. Классовый подход умерщвляет совесть, сострадание, жалость. Не случайно все русские мыслители-гуманисты протестовали против вовлечения юношей и девушек в политику.

Детей ломали, превращали в убийц, людоедов, не только выпускники Сорбонны полпотовцы², но и у нас во время гражданской войны. Ведь это же наши «красные дьяволята», на которых до недавнего времени хорошо зарабатывали наши кинорежиссеры. Ведь несчастную полуумную Настю, которая при виде крестьянина в лаптях кричала «убей», Андрей Платонов не придумал — он списал ее с натуры. Литератор А. К. Виноградов писал А. М. Горькому: «Когда двое ребят, дети слесаря-ударника, валят под трамвай своего школьного товарища на том основании, что он сын врача и классовый враг, то это значит, что в этой семье разбушевались далеко не человеческие стихии». Так что особой необходимости в таких провокаторах детской ненависти, как Карл Радек,

и не было. Гражданская война сделала свое дело.

Впрочем, и после нее бацилла классового подхода продолжала проникать во все поры нашего общества, постоянно разномысливаясь. Наше общество и в двадцатые и в тридцатые годы буквально дышало классовым подходом. Именно он вытеснял сердечность, отзывчивость, милосердие, от недостатка которого мы сегодня сильно страдаем. В стране очень многие мыслили по стереотипам, оставшимся от гражданской войны. Разве не наставлял наш просвещенный нарком здравоохранения Семашко выпускников медицинских вузов: «Врачи должны держаться классовой морали и не лечить кулаков»¹.

Большевики никогда не скрывали, что они есть капля в море, взявша на себя задачу повернуть его воды вспять. Только человек, ослепленный классовым подходом, верящий в особую историческую миссию пролетариата, мог не увидеть изначальную, чудовищную безнравственность этой позиции. Какое право имеет капля навязывать свою волю морю, тем более если оно, море, всеми силами сопротивляется этому! Какова гарантия, что в новых, запланированных берегах будет лучше? И самое главное: неужели не жалко этого моря, которому капля обязана своим рождением? Неужели не страшно картины разрушения, вызванной сатанинским честолюбием, «подвижнической» верой в созидательную мощь революционного насилия?

Но трагедия ленинской гвардии (а отсюда трагедия всех россиян, потомков) состоит в том, что она не смотрела на мир, как нормальные люди, привыкшие считать, что добро есть добро, а зло есть зло, что истязать свою Родину преступно, ибо ее прежде всего надо любить, что разрушение есть только разрушение и ничего больше.

И Ленин, на мой взгляд, поступил честно и искренне, когда во всеуслышание сказал, что вера в марксизм, в идею диктатуры пролетариата, подвижничество на стезе революции неизбежно и неотвратимо ведет к отказу и от общих де-

¹ Цит. по статье Андрея Василевско-го «Бред разведок, ужас Чрезвычайных». — «Литературное обозрение», 1989, № 12, с. 49. Автор этой статьи комментирует эти галлюцинации уставшего от «трудной работы» чекиста следующим образом: «Но и будущие национал-социалисты в Германии, тоже озабоченные промышленной переработкой «лишних людей», не смогли обойтись без «обыкновенных» палачей».

² «А еще — дети-людоеды. Их научили убей врага, съешь его печень и станешь еще храбрее. Я видел мальчишку, который проделал этот ритуал больше двадцати раз: убивал, съедал... В горах, в лесах полпотовцы... взяли поколение несмышленишей и — воспитали — выдрессировали из него гигантскую стаю детей-зверей, подростково-волков... спустили эту стаю на город, на интеллигенцию, на всех просто нормальных людей» (Каркин Ю. Достоевский и канун XXI века, с. 294.).

¹ Пришвин М. 1930 год, с. 159.

мократических принципов, и от «условностей» христианской морали. Поэтому нас сегодня не должны шокировать документы, из которых видно, что он не только не боялся террора, а сознательно разжигал его, из которых явствует, что он не опасался оставлять для потомков свидетельства своей чудовищной жестокости. Избрав свой антимир, став на путь отрицания обычных представлений о добре и зле, о том, что есть бытие, он по крайней мере был последовательным.

Да, это Ленин несет ответственность за убийство сотен заложников в Питере, он сам начал красный террор. Вот этот документ: «26. VI-1918. Г. Е. Зиновьеву. Также Лашевичу и другим членам ЦК. Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере **рабочие** хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что Вы (не Вы лично, а питерские чекисты или цекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, **тормозим** революционную инициативу масс, **вполне** правильную. Это не-воз-мож-но. Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего **решает**. Привет! Ленин».¹

Столь же честен и откровенен был в конце концов в своем нравственном, ценностном выборе и второй после Ленина вождь нашей революции Л. Д. Троцкий. Руководствуясь тем же принципом — «успех революции превыше всего», он, наверное, одним из первых обосновал правомерность репрессий по отношению к политическим противникам, не отказавшись от соперничества в борьбе за власть, правомерность превентивной, упреждающей защиты сложившегося политического режима.

Классовый подход вел не просто к войне с народом, а к войне с лучшей частью народа. Он вел не только к борьбе (а часто и к уничтожению)

против наиболее образованных классов, наиболее активных носителей культуры, знаний, правил приличия, но и лучшей части рабочих и крестьян. Бедняк, на которого сделала ставку революция, а потом Сталин в период коллективизации, был не только олицетворением духовного невежества, но и в большинстве случаев ленивым человеком. Об этом часто писал сам Ленин. По наблюдению М. Пришвина, среди бедняков 50% лентяи.

И самое главное. Классовый подход, с его примитивным одномерным видением мира, на практике, в условиях революции, был направлен одновременно и против наиболее образованной, духовно развитой части рабочего класса, тех, кто стремился к духовному, культурному творчеству.

И именно этому мастеровому, одухотворенному рабочему люду, который жаждал труда, мысли, а не драки, читал газеты, журналы, не нашлось места в новой России, устроенной в соответствии с наукой о классах. Лучшие из рабочих не хотели участвовать в насилии, ибо боялись «ущемить совесть», а потому первыми, как наиболее близкие люди из рабочей же среды, оказались жертвами железного принципа «кто не с нами, тот против нас». Они мыслили, и это чаще всего оканчивалось для них печально. Кто бы мог при новой власти терпеть столяра Семена Петровича, о котором пишет Н. Валентинов! Этот рабочий настаивал на том, что «все зависит от того, насколько разовьется и укрепится в людях совесть. Царь и его министры могут быть уволены, на их место встанут люди новые, но если они будут «злыми», больших перемен ожидать нельзя. В меха новые будет влито вино старое. Останутся и несправедливость, и неравенство, и ненависть, и притеснения. Законы на бумаге могут быть хорошими, в действительности же в руках злых исполнителей они окажутся плохими». Кто потерпел бы такие мысли в условиях господства учения о классах? В лучшем случае эти имевшие развитую душу рабочие, не нуждавшиеся в чужом богатстве, могли выжить, спрятавшись в подполье различного рода сект. После войны я у нашей соседки по дому, евангелист-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 90, с. 106.

ки бабушки Оли, иногда встречал людей, подобных Семену Петровичу. Они, эти старики, до революции все были рабочие. Как-то тихо, незаметно приходили в дом и так же тихо уходили. Транспортом пользовались редко. Ходили пешком. Существовали как тени того мира, в котором можно было задавать любые вопросы и без страха думать о Боге. Не то сейчас. Теперь становится ясно, что простые люди у нас так слабы в размышлениях о причинах своих бед не в силу природной косности русского ума, а в силу того, что выжить можно было, только ни о чем не думая, веря на слово всему, что пишут и говорят победители, вожди пролетариата.

Впервые в истории человечества сложилась ситуация, когда подавляющее большинство населения вынуждено было уступить свое святое право проживания на родине предков подавляющему меньшинству. Которое не сумело, конечно, всех уничтожить или вышвырнуть за границу, но оставило себе право решать, где кому жить. Сталинское выселение крепкого и среднего крестьянина было логическим следствием исходной идеи экспроприации.

Впрочем, в мышлении Сталина, подтолкнувшем его к такому решению, не было ничего оригинального. Если можно, руководствуясь идеологической целесообразностью, выслать из страны всех оставшихся в России мыслителей, соль русской гуманитарной интеллигенции, то почему нельзя из политической целесообразности отправить крепкого крестьянина за Урал? Масштабы человеческого бедствия разные, но логика одна и та же — классовая.

Ленин и Троцкий, выселяя в 1922 году из страны выдающихся представителей либеральной русской интеллигенции, стремились создать благодатный идеологический климат для новой классовой науки и культуры¹. Многие слушали Шигонцевых², которые внушали: «Респуб-

лика победила только потому, что не знала пощады»; «Какая разница: восемнадцать человек Бычина или сто пятьдесят Браславского?»; «Люди ужасаются цифрам — как будто арифметика имеет значение». А потом разрешали противоречие между моралью и интересами «всемирной революции» просто: «нет морали, а есть интересы строительства коммунизма». Какая разница, сколько репрессировано! Лишь бы укреплялось единство партии, развивался социализм. За ценой не постоим. В истории, мол, не бывает ни дешевых, ни дорогих побед... К сожалению, некоторые публицисты проповедуют эту ложь до сих пор.

Поэтому нет ничего неожиданного в том, что и сегодня, спустя полвека, многие исповедуют взгляды Шигонцевых, не могут мыслить иначе. А что было делать Сталину, рассуждают они. Как иначе, «могло ли быть без жертв», когда мировая империалистическая буржуазия буквально насаждала на нашу страну. «Нужно отдавать себе отчет, — писал недавно профессор А. З. Селезнев, — что в условиях капиталистического окружения и непрерывных враждебных акций против СССР, а затем в силу чрезвычайности обстоятельств в связи с фашистским нашествием, не могло быть альтернативы. Диктатура пролетариата, по выражению Ленина, исключает кислородное состояние... Как всякий человек, Сталин не мог не сделать ошибок»¹.

Суть этого сверхреволюционного мышления — в абсолютном пренебрежении к тем людям, во имя которых якобы все и совершается, в

Кстати, упоминавшийся выше В. Зазубрин был первым советским романистом. Его роман «Два мира» (1921 г.), живописующий, как и все его творчество, бойню революции, гражданской войны, был поддержан прежде всего в силу четкой классовой направленности. Сам Луначарский считал его «чрезвычайно удавшимся», полагал, что «для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции роман будет крепким призывом...»

² Жестоким красным комиссар, герой романа Ю. Трифонова «Старик».

¹ Селезнев А. З. Общее значит наше! — «Собеседник», 1987, № 29, с. 10.

¹ Не следует забывать, что новая российская литература, появлявшаяся в начале двадцатых годов, несла, утверждала и пропагандировала прежде всего классовый взгляд на мир, жестокость, нигилистическое отношение к законам и нормам старого общества.

неумении думать, считать, соизмерять интересы и счастье ныне живущих людей с так называемой исторической необходимостью. Последняя выступает как нечто нерасчлененное, существующее само по себе, независимо ни от тех конкретных людей, которые живут сегодня, ни от тех, которые будут жить завтра. Сверхреволюционер служит не людям, а этой мистической закономерности истории. Он и мысли не допускает, что надо считать, что «арифметика имеет значение», что прогресс, который строится на жертвах, прогрессом не бывает.

Скажу уж до конца: отношение к трагедии гражданской войны — это мера истинной интеллигентности человека. Мясорубка классовых борьбы, гражданской войны столь же отвратительна, как и мясорубка сталинских репрессий, тут нечему радоваться, нечем восхищаться. Нет ничего нравоучительного в том, что один класс с вдохновением истребляет другой, что брат воюет против брата.

Сегодня, к счастью, мы понимаем, что классовый подход по самой своей природе односторонен. Он резко активизирует интерес к тем качествам человека, которые нужны для решения задач революции. И в то же время он неизбежно притупляет интерес к человеческим качествам, необходимым для созидания. Поэтому при классовом подходе готовность человека к революционной борьбе приобретает больший вес, чем его готовность к эффективному осмысленному труду.

При этом невольно утрачивается интерес и к внутренним, глубинным структурам человеческой личности, к наиболее сложным общим проблемам человеческого бытия, к проблемам греха, совести, жизни и смерти, любви и ненависти, преступления и раскаяния.

СНАЧАЛА БЫЛО СЕМЯ

В том, что с нами произошло, надо видеть не только слабость отдельных людей, проявление их легкомыслия, честолюбия, игроцкого азарта, неумения или нежелания заглянуть хотя бы на один день вперед. Нет, это сама жизнь, ее конфликты, столкновения рожают

профессию революционера, с ее мотивами, психологией, видением мира. Сама жизнь периодически толкает людей к той опасной черте, за которой срыв, бездна. История России в XX веке, впрочем, как и история Германии и других европейских и неевропейских стран, обнаружила хрупкость, болезненность самих общественных структур, созданных человеческих ценностей.

Почему же само человеческое бытие рождает идеи и иллюзии, ложные прозрения, которые, овладев массами, в состоянии переломить хребет любой процветающей стране? Почему так долго страны не могут освободиться от идей, тоталитарных структур, умерщвляющих, запрещающих саму жизнь, а люди привыкают к абсурду, более того, со временем начинают в нем нуждаться? Почему же все-таки так трудно устраняется дефицит здравого смысла — дефицит, от которого до сих пор страдает наша страна?

Мы не имеем права забывать, что большевизм (а затем его детище сталинизм) вырос в среде радикально настроенной русской интеллигенции, что она несет ответственность за все пережитые страной ужасы. Сменеховцы были абсолютно правы в том, что главным субъектом, главным действующим лицом всех наших революций был не народ, а левая, радикальная интеллигенция. Настало время разоблачить миф о ее жертвенности и сострадательности. Во всем этом святом деле, как выяснилось, она блюла прежде всего свой интерес. И никто не докажет, что наша марксистская революционная интеллигенция всерьез думала о нуждах простого народа. Тому нет никаких доказательств.

Ими двигало желание не столько помочь народу, его-то чаще всего они и не знали, а «мистические нелепости», овладевшие душой. Громадное влияние гуманитарной интеллигенции на настроения людей — это не наша сила, а наша слабость. Те народы, где этот обособленный, специальный слой не существует, не знали ужасов революционных потрясений, бессмысленной, тупой гражданской войны.

Все это понятно. Но пора бы нам всем осознать, что никто, кроме интеллигенции, не в состоянии выродить

«мистическую нелепицу», тем более придать ей правдоподобный характер. На мой взгляд, чтобы приступить к серьезному разговору о том, почему и как наша российская интеллигенция сломала хребет России, подтолкнула народ к самоистреблению¹, надо решить простую задачу: отбросить преграды к такому разговору. На сегодняшний день основной преградой здесь является имеющий хождение миф о крестьянском, мелкобуржуазном происхождении левачих скачков нашей революции, и прежде всего сверхлевизны Сталина.

Конечно, царистские настроения, привычка жить под железной рукой, патриархальщина, бескультурье и безграмотность бородатого мужика — все это в конечном счете способствовало утверждению диктатуры сначала большевизма, а потом Сталина. Но это скорее почва, семя же было выращено на другой, левой ниве.

Патриархальщиной, деревенским консерватизмом переболели все народы. Но почему только у нас возник сталинизм? Вспомните повнимательней в социальную физиономию сталинской власти. Такой способ правления невозможен в обществе, где сохраняются патриархальные устои жизни. Япония, будучи в XIX веке более традиционным и патриархальным государством, чем Россия, избежала явлений, подобных сталинизму.

Впрочем, зло патриархальной отсталости ни в коей мере не снижает ответственности левой, социалистической интеллигенции за последствия ее выбора. Напротив. Чем ниже культурный, образовательный уровень населения, чем доверчивее оно ко всем тем, кто выступает за справедливость, тем более осторожно и об-

думанно она должна поступать. В этих условиях вся ответственность без остатка лежит на деятелях, выдвинувших идею революционного обновления общества, тех, кто повел этих недостаточно цивилизованных, не привыкших к самостоятельному суждению людей в неизведанное, призвал их к разрушению старого мира.

Я думаю, что когда мы говорим о сталинизме как о левацкой нетерпеливости, левацком экстремизме, то вообще не имеем права кивать в сторону бородатого мужика. Он тут ни при чем. На всех этапах нашей революции этой левой безлезно рабочей все же болели намного сильнее, чем крестьяне. Да это и понятно. Рабочему нечего терять, **кроме своих цепей.**

Не забывайте, крестьяне так и не поддержали радикальную аграрную программу большевиков, идею организации сельскохозяйственного труда в национальном масштабе на обобщественной земле по единому плану. Если бы русский крестьянин действительно был наделен социалистическим инстинктом, то он бы косяком повалил в большевистскую фракцию РСДРП, которая написала на своем знамени: «Общий труд на общей земле». Но этого, как известно, не произошло ни до Октября, ни после. Сталину пришлось силой насаждать колхозы и совхозы.

Впрочем, зачем гадать, что мог или не мог выбрать преобладающий тип дореволюционного россиянина, что могло или не могло совершить русское крестьянство как класс в целом. Ведь есть один хрестоматийный факт истории России начала двадцатого века, о котором знают даже школьники, но о котором, по понятным причинам, не вспоминают нынешние разоблачители русской патриархальщины и отсталости. Этим событием является Октябрь 1917 года. Что тогда выбрала крестьянская Россия? Она выбрала Декрет о земле, который отдавал ей помещичью землю, позволял на несколько десятков расширить свой надел и хозяйствовать. Крестьянство тогда проголосовало за эсеровский черный передел, за частное, семейное землепользование, за буржуазный путь развития.

Можно, конечно, посетовать на то,

¹ «Могла ли вообще какая бы то ни было революция в России не быть интеллигентской? Не отведена ли изначально русской интеллигенции решающая роль в любой русской революции? И, следовательно, не творился ли в грандиозном историческом процессе, начавшемся в марте 1917 года, вторичный страшный исторический суд над нами, интеллигентами, как главнейшей среди всех революционных сил, давившей на нашу родину и взорвавшей ее в итоге войны?» — спрашивал в 1921 году один из авторов сборника статей «Смена вех» эмигрант Ю. В. Ключников.

что крестьяне, как было принято говорить среди марксистов, поверили в «реакционную утопию» о возможности сохранения мелкого семейного производства на земле в условиях капитализма, что им не хватило ни знаний, ни политической культуры, чтобы понять выгоды коллективного возделывания земли. Но этих бородастых крестьян, деревню в целом, никак нельзя связать с тем выбором, который был сделан революционным пролетариатом и социалистической интеллигенцией города. В том-то и загвоздка, основное противоречие Октября, что революция была в стране одна, а выбор — разный. В городе — по преимуществу социалистический, а в деревне, то есть на преобладающей территории страны, — капиталистический, частнособственнический.

И никакой тайны в этом нет. Перелистайте работы Ленина времен гражданской войны. В этот первоначальный период революции он постоянно обращал внимание на буржуазный по преимуществу характер Октября, на то, что «революция наша буржуазная, пока мы идем вместе с крестьянством, как целым». С его точки зрения, только комбеды привели к распространению социалистической революции в деревне. Да и в этом случае, как разъяснял Ленин, субъектом новой политики, перенесения классовой борьбы из города в деревню было прежде всего само пролетарское руководство. Что было, то было. Тут ни прибавить, ни убавить.

Все три российские революции были организованы интеллигенцией, проводились под ее непосредственным руководством. Ни один класс России не жаждал так страстно революции, как интеллигенция. Это святая правда.

Честные, убежденные мечтатели о будущем всемирном братстве рабочих и крестьян — редкость на селе. К ним в деревне никто серьезно не относился, кроме молодежи. Как правило, такие мужики не умели работать, а потому их за стоящих людей не считали. И это понятно. При всех своих недостатках, консерватизме, крестьянин предельно расчетлив и трезв. А как же иначе, иначе — голодная смерть. Раньше хлеб и молоко в деревню не возили.

Тысячелетняя история крестьянства отбраковывала нетрезвых, нерасчетливых. Юродивый до тех пор юродивый, пока он в деревне один.

Что же касается своего мира, быта, производства, то крестьянин в то время его не только не разрушал, а укреплял. Запасался землицей, инвентарем. Крестьянин по природе своей не может быть луддитом. Не мог он сам рубить сук, на котором держался весь его быт. Ведь не случайно так мощно развивалась крестьянская Россия с 1906 по 1913 год, когда утихла смута. От земельной реформы 1906 года до 1912-го производство пшеницы в России увеличилось на 77 процентов, ржи — на 42, ячменя — на целых 153 и даже кукурузы — на 21 процент. Годовой российский вывоз хлеба — 600—700 миллионов пудов — был самым крупным экспортом в мире. Не случайно и на протяжении двадцатых годов — до тех пор, пока выдерживались экономические условия зпа, условия мирного договора между городом и деревней — сельскохозяйственное производство развивалось неслыханными для России темпами.

Беда пришла из города, была инициирована городским человеком. Все свидетельства, вся литература о тридцатых годах противоречит тому, что пытаются нам внушить. Человек с налаженным бытом, со сложившимся строем жизни, человек, которому есть что терять, не склонен к социальному утопизму, мистицизму. Русского крестьянина первой четверти двадцатого века нельзя уподобить немецкому крестьянину мюнцеровских времен.

У русского крестьянства достаточно своих грехов и недостатков. Но не надо взваливать на него чужих. Крестьянин никогда не мог додуматься до такой, с его точки зрения, нелепицы, как государственные фабрики зерна на земле, до стандартизации и унификации возделывания хлеба. Человек, который привык всю жизнь планировать, соизмерять, который в отличие от интеллигента имеет постоянный контакт с веществом жизни, с землей, с конкретным, ни за что не поверит, что в один день можно мир перевернуть, а земля, запряженная в узду государственных декретов, начнет плодоносить без перерыва

и без отдыха, как дикая кошка приносит котят.

Крестьянин всегда подозрительно относится к различного рода новшествам, нововведениям. И это проявление не столько природного консерватизма, который его часто подводил, сколько глубокой веры в объективный характер труда на земле, в изначальную «заземленность» всего того, что делает человек. Он не может поверить, что кому-то дано, как богу, слепить душу из земли сырой и за один день создать твердь и небо. Поэтому-то, к примеру, сами крестьяне никогда всерьез не воспринимали знахарей от агрономии типа Трофима Денисовича Лысенко.

Изначальная нелюбовь русского крестьянина к государственной запашке земли — вот, на мой взгляд, еще одно серьезное свидетельство того, что он не мог стать инициатором сверхлиевизы, сверхэатизма. Да, крестьянин в России всегда нуждался в крепком государстве, в крепкой власти, видел в ней своего защитника. Все это в исследованиях об азиатском способе производства написано верно. Деспотизм неизбежно вырастал из распыленности мелко-го производства. Но это только одна сторона медали. Другая, не менее важная, состоит в том, что сам крепкий, дельный крестьянин не любил участвовать в организации этого государственного дела, тем более в распространении власти государства на свое хозяйство. Так было всегда, на протяжении веков. Кое-где эти настроения сохраняются до сих пор. Срабатывает древний инстинкт сопротивления городу, его власти.

Мы пострадали не от крестьянского «мы», а от общего затмения ума, вызванного раболопием перед бредовыми идеями. Нам сейчас нужна не только историческая память, но и элементарное человеческое покаяние в грехе идолопоклонства.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Конечно, без духовного потрясения правдой, не пройдя через горнило очистительного шока, мы к духовному здоровью не придем. Грядущая (и уже начавшаяся) переоценка ценностей носит апокалипсический характер. Никто и никогда в истории человечества не был так пора-

бощен мифами, гипнозом мечты, как наш народ в XX веке.

Мы полагали, что связали свою судьбу с единственной, другим недоступной, могучей истиной, а выяснилось, что доверились мечте-призраку, интеллектуальной фантазии, которой не суждено было воплотиться в кровь и плоть человеческого бытия.

Мы полагали, что являемся первопроходцами, ведем за собой все остальное человечество в царство свободы и духовной благодати, а оказалось, что наша дорога была дорогой в никуда, в тупик и мы подвели не только себя, но и своих соседей.

Мы полагали, что строительство коммунизма в СССР было величайшим подвигом нашего народа, говорили о «великом пути», а по сути это был долгий и мучительный путь самоистребления, саморазрушения интеллектуальных, физических сил народов России.

Мы полагали, что капитализм — это приговоренный к смерти старик, дышащий на ладан, а оказалось, это добрый молодец, который только сейчас начал распрямлять плечи.

Мы полагали, что нас окружают единомышленники по социализму, благодарные нам за спасение их от капиталистического рабства, и все вместе мы образуем мощный социалистический лагерь, а оказалось, что все эти народы, придавленные нашим «счастьем», только и ждут момента, чтобы вернуться к старой жизни.

Мы полагали, что наше национальное производство, организованное как одна большая фабрика с одним всемогущим директором, с одной всевластной диспетчерской, является верхом человеческого разума, а оказалось, что это экономический абсурд, закрепостивший хозяйственную и духовную энергию народов России.

Для того чтобы удержаться как государство, для того чтобы одновременно сохранить свою особенность, отличность от того, что присуще развитым капиталистическим странам, мы были вынуждены взамен товарных форм производства, взамен элементов складывавшегося в России гражданского общества внедрять различного рода допотопные, доци-

визационные формы организации жизни и быта. Так называемое социалистическое строительство по своей социальной сути было насильственным внедрением докапиталистических, дотоварных форм производства. В России это, наверное, получалось, ибо в самой жизни были многие рудименты докапиталистических форм.

Социалистическое строительство по всем линиям вело к замене демократических, экономических форм принуждения к труду внеэкономическими, насильственными формами. Впрочем, этого никто не скрывал. В период военного коммунизма общим местом пропаганды и идеологии было утверждение о преимуществах трудовой повинности.

Что такое ленинский демократический централизм? Ответ на этот вопрос дал И. В. Сталин. Это создание организации, по духу, по внутреннему строению напоминающей Орден меченосцев. Это возвращение к самым жестоким формам порабощения личности.

Что такое сталинский, классический, наиболее развитый ГУЛаг, всех заставивший на себя работать — всю остальную, нелагерную часть страны и все ее политические и идеологические институты? Наверное, это возвращение к самым примитивным формам организации труда, к государственному рабовладению доантичной эпохи, к власти жрецов-рабовладельцев.

Что такое морально-политическое единство на единой марксистской мировоззренческой основе? Это еще одна в истории человечества попытка создать теократическое государство, отбросить в угоду монополии власти все найденные человеческой цивилизацией формы разделения властей.

Что такое принцип номенклатуры? Да конечно же возвращение к самым примитивным формам кастового деления общества, к самым примитивным формам классовой дифференциации! Касты прошлого, особенно феодальной эпохи, хоть в чем-то были ограничены. Они знали, что такое сословная честь, их члены боялись суда божьего, у них были принципы. А людей типа Сталина, Ворошилова, Радека, Молотова, Зиновьева, Каменева ничто не сдерживало. Болезнен-

ная мечта о мировой революции оказалась той индulgенцией, которая прощала им каждый день их каждодневные грехи.

Наверное, нет больше необходимости углублять аргументацию, подтверждающую мой тезис, что строительство социализма и коммунизма в нашей стране было по сути замещением цивилизованных форм жизни нецивилизованными, замещением жизни нежизнью. Остается добавить, что во многих случаях уже развившаяся в России частнособственническую мотивацию не удалось вытеснить, а потому она сохранилась, хотя и в извращенной, докапиталистической форме — в виде личных подсобных хозяйств, теневой экономики, распределителей, взяточничества, в виде миллионов несунув и т. д. и т. п. В том-то и дело, что во всех сферах жизни за коммунистической демагогией чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, крылся низменный эгоистический интерес, стоящий на несколько ступеней цивилизованного развития ниже, чем буржуазный предпринимательский интерес. Десятки тысяч идеологов, которые мучали народ своими речами о царстве коммунизма, о преимуществах социализма, о необходимости борьбы с проявлениями частнособственнической идеологии, жили мечтами о своей очередной и прибыльной поездке на «загнивающий Запад», о том, чтобы пристроить своих детей в МГИМО, опять-таки с перспективой выезда для работы за кордон и проч. Десятки, сотни корреспондентов, которые мучали нас по вечерам своими лживыми и циничными репортажами о загнивающем Западе, об ужасах безработицы, которые как волки рыскали по трущобам, ночлежкам, чтобы показать нам очередного опустившегося человека, только и думали о том, чтобы пробыть еще срок на этом Западе, чтобы от них не уплыли супермаркеты.

Так что не надо драматизировать ситуацию. Никогда мы не были коммунистической страной и никогда мы не жили по-коммунистически.

В порках общества, которое мы называли коммунистическим, все его важнейшие узлы были облеплены со всех сторон традиционным чистоганом, психологией и мотивацией

товарного обмена. Не жили по-коммунистически и все те герои труда, из которых формировался корпус участников партийных съездов, членов Верховного Совета и т. д. Все они развращались привилегиями чрезвычайно быстро. Беда наша состояла только в том, что все это у нас было шиворот-навыворот.

Да, рынок, классический товарный обмен, классические денежные отношения, которые Карл Маркс презрительно называл «капиталистическим чистоганом», нам удалось разрушить. Но от товарного обмена чистого, явного, развитого мы просто перешли к различным его суррогатам. Жертвоприношения в виде взаимных услуг, протекций, подарков в последние десятилетия буквально пронизали всю систему экономических и социальных отношений. Ответственная, то есть ничейная, собственность превратила значительную часть людей, имеющих дело с материальными благами, в несунув, лихоимцев.

Выйти из этой антилогики, и в этом смысле из тупика, сложно, но ничего трагического в этом нет.

Будь наше дело безнадежным, как полагают многие наши нынешние проповедники катастроф, не было бы никакой перестройки, демократизации, очищения от сталинизма, стыда за прошлое безумие, за идолопоклонство, бесконечные абсурды, жизнь во лжи. Мертвые не проснулись бы, не захотели живительной влаги свободы, правды, не востребовали бы наконец лучших, утраченных достояний культуры. Мы еще живы, и нет оснований для кликушества. Никто, даже бог, не может дать нам стопроцентной гарантии, что мы выберемся из коммунистического тупика, в который сами себя загнали. Но нельзя не видеть, что у нас есть все необходимое для того, чтобы начать жить как люди, вернуться из доцивилизации в цивилизацию.

И, наконец, самое главное. Все известные в истории социалистического строительства попытки стимулировать труд бедностью неизменно оканчивались поражением. Человеку трудно смириться с ролью винтика. Он инстинктивно сопротивляется однообразию, бежит от принудительного, навязанного труда. Идею свободного, творческого развития лич-

ности, гуманистический идеал марксизма, как оказалось на практике, трудно соединить с марксистской идеей плана, полного вытеснения экономической инициативы снизу. Из бедности отдельных граждан невозможно построить богатое государство. Мы постепенно возвращаемся к старой народной истине, которая учит, что богатство державы создается старательностью хозяина, мастера, его уверенностью в себе и в своем достатке.

Нехозяин, как писал один известный советский драматург, не может быть и никогда не будет хозяином. Мы обязаны признать бесповоротом, что наша многолетняя борьба с психологией собственника за психологию несобственника была рождена глупостью, сама была величайшей глупостью. Мы обязаны сегодня признать, что не понимали фундаментального значения частной собственности в развитии человеческой цивилизации, что борьба с частной собственностью, по сути, обернулась разрушением основ экономики, основ общественной жизни, разрушением села, города, семьи.

Если раньше, до революции, в России признаком интеллигентности и свободомыслия было негативное отношение к частной собственности, то сегодня, напротив, нельзя назвать серьезным интеллектуала, ученого, который бы отрицал цивилизационные функции частной собственности и капитала, кто бы не усомнился во вздорности идеи об уничтожении частной собственности.

Да, частная собственность и капитал, разделяющие людей, с неизбежностью плодят конфликты, зависть, часто опустошают душу, рождают страшную болезнь меркантилизма, стремление обогатиться любой ценой и как можно быстрее.

Но ведь, как сегодня стало ясно, частная собственность в еще большей мере плодит человека, право, законность, верность своему слову, помогает человеку стать личностью, сохранить собственное достоинство и честь. Собственность дает экономическую, а потому и социальную защищенность, она рождает уверенного в себе гражданина, у кого есть что защищать и о чем заботиться. Частная собственность, и прежде всего частная собственность на ору-

дия своего труда, на поле, орошенное твоим потом, на результаты своего труда, превращает просто человека в существо заинтересованное, мыслящее, ищущее инициативное, беспокоящееся.

Конечно, влияние частной собственности на общественную жизнь противоречиво. Она сама по себе является драмой человеческого бытия. Но кто доказал, что существование человека может быть недраматичным, что человеку можно, как мечтал молодой Маркс, преодолеть все проблемы своего существования. Вместе со старым наивно-романтическим отрицанием частной собственности постепенно умирает идущая от марксизма вера в возможность идеального, бесконфликтного человеческого существования. Люди у нас начинают понимать, что стремление к полному исключению социального зла есть утопия. Это самое страшное зло. Самое разумное — стремиться к меньшему злу. Мы увидели — и нам стало страшно за себя. Если частная собственность плодит умных и инициативных людей, то противостоящая ей государствен-

ная, то есть ничейная, собственность плодит ленивых дураков, плодит безумие, содрогающие мир абсурды, а главное, плодит самые ужасные формы насилия над личностью. Нет ничего страшнее и бесчеловечнее, чем тоталитаризм, рожденный левой идеей, тоталитаризм, покоящийся на общественной собственности.

Уроки наши, гласящие, что невозможное невозможно, что естественное в конечном счете одерживает победу над неестественным, придуманным, несомненно имеют всемирно-историческое значение. Только сейчас открылся доселе скрытый, подлинный смысл той истории, которую мы начали в октябре 1917 года, истории, которая впервые открыла человеку глубинные границы, отделяющие добро от зла. Эти уроки прежде всего важны для нас самих. Ибо никто в мире до нас не заблуждался так сильно в истине добра. Если естественное в нашей стране в конечном счете одержало победу над выдуманым, то, следовательно, у нас есть на что надеяться, следовательно, у нас есть все необходимое, чтобы вернуться назад в историю.

Беате КРАЕВСКА, Улдис ЛАСМАНИС

«ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО»: ОТГОЛОСКИ КАТЫНИ

ФОНД № 6455

14 апреля 1990 года ТАСС наконец признал то, что уже было известно всему свету — убийство органами НКВД в Катynie 50 лет назад тысяч и тысяч польских военнослужащих. Это признание было обставлено известными рамками приличия: вот, мол, недавно (!) были найдены изобличающие документы, проведены научные разыскания в архивах; затем президент СССР передал президенту Польши две синие папки со списками жертв; торжество гласности — и можно опускать занавес?

Точку, однако, ставить рано. Как сообщает литовская газета «Согласие»,

имеются документы о массовых захоронениях расстрелянных польских офицеров и в других местах на советской территории; официально приводимые цифры жертв, мягко говоря, неточны. Мы подозреваем, что «катынское покаяние» Советского правительства всего лишь служит козырем на предстоящих в Польше президентских выборах.

Как бы то ни было, клубок сталинских преступлений надо распутывать дальше. Общественность должна знать все. В нашем распоряжении — материалы из фондов Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) Латвии, касающиеся польских военнослужащих, интерни-

рованных в независимой Латвии осенью 1939 года. Какова судьба этих людей?

То, что о них до сих пор не вспоминали, неудивительно. Печать и дипломаты довоенной Латвийской Республики умели держать язык за зубами, да и трудно было вести себя иначе, находясь между серпом и молотом, с одной стороны, и наковальней — с другой. Но что же содержится в архивном фонде номер 6455 под заголовком «Комендант лагеря интернированных офицеров»?

Всего здесь 108 дел. Между тем офицеры в общей массе интернированных составляют около 10 процентов. Видимо, название фонду дано с явной целью сузить представление об этом контингенте.

Надо сказать, что с началом второй мировой войны, еще в сентябре 1939 года, в Латвии было организовано 6 лагерей по приему интернированных польских воинов — в Даугавпилсе, Лиелпае, Литене, Лиласте, Цесисе (в санатории), Улброке. Все они находились в подчинении административного отдела штаба Латвийской армии

и территориально — командиров соответствующих дивизий.

Первых приказов об организации лагерей нам обнаружить не удалось, нет об этом ни слова и в периодике того времени. Так, популярный журнал «Атпута» (Отдых) помещает в сентябре фоторепортажи и отчеты о триумфальном шествии немцев по территории Польши, о подбитых польских самолетах, но ни строчки о беженцах из поверженного государства. Только «Валдибас вестнесис» (Правительственный вестник) 19 сентября публикует лаконичную информацию местного телеграфного агентства: «ЛТА, Рига, 18 сентября. В воскресенье после обеда латвийско-польскую границу стали пересекать беженцы из Польши, как отдельные лица, так и небольшие группы. Со всеми перебежчиками обращаются в соответствии с общепризнанными нормами, разоружая военных, а прочих сосредоточивая в одном месте и направляя в лагеря. (...) К утру вторника латвийско-польскую границу перешло 500 беженцев».

Спустя два дня то же издание сообщает, что «число беженцев уве-



Из фонда № 6455. Документ, принадлежавший капралу Тадеушу Завитовскому — летчику, числившемуся по учетной карточке «в самовольной отлучке с 1939 года».

личилося еще примерно на 1000 человек».

Всезнающие и всемогущие «Яунакас зиняс» (Новейшие известия) добавляют, со своей стороны, что 83 польских самолета перелетели границу и приземлились на территории Латвии. Аэропланы устаревшей конструкции. Экипажи интернированы. Самая популярная латвийская газета весьма подробно описывает «пылающую Польшу», снабжая репортажи снимками, регулярно помещает «обзоры наших военных специалистов», сообщает о «трагедии польских беженцев в литовском приграничье, где их скопилось 15 000». Есть также данные о том, что «война в Польше выгнала из чащобы волков, появившихся в Бауском и Екабпилсском уездах (Латвии. — **Ред.**)». О польских беженцах в Латвии — ничего, только заявление Красного Креста, что их мало и особая помощь не требуется.

Других сведений об интересующем нас предмете в средствах массовой информации той поры нет. Почему? Мы склонны думать, что причиной умолчания послужила декларация о нейтралитете Латвии. Декларация была принята сразу же, как только началась война, и опубликована в «Яунакас зиняс» 4 сентября. Такое же мнение высказал 18 мая 1990 года одному из авторов этой статьи Вилис Сталажс, атташе латвийского посольства в Польше в те грозные дни:

«5 сентября 1939 года я с женой Мартой и грудным ребенком покинул на своем «мерседесе» горящую Варшаву. Привычная асфальтированная трасса через Восточную Пруссию была перекрыта. Все-таки уже 6 сентября мы были в Риге — добрались по плохим виленским и митавским дорогам. Когда я предстал перед его превосходительством Вильгельмом Мунтерсом (министр иностранных дел Латвии. — **Ред.**) и сказал ему, что прибыл из столицы воюющей Польши, он резко меня перебил: «В своих корреспонденциях в «Яунакас зиняс» вы слишком явно симпатизируете польской армии. . . . Мне, дипломату, не нужно было повторять дважды: я понял, что мы не имеем права задевать немцев. В этом, на мой взгляд, и заключается причина того, почему Латвия скрывала численность, местопребывание и условия содержания интернированных польских

бойцов. Во всяком случае, стремились не задевать болезненное самолюбие Гитлера. Возможно, и русские тоже, хотя в то время о действиях Совдепии мы могли только догадываться. Мы и впоследствии не знали, выведет ли Сталин свои войска из оккупированных польских областей или нет».

Но поток польских солдат в те сентябрьские дни не прекращался. Не всё можно восстановить по документам, потому что не все документы сохранились, но, по-видимому, в окрестностях Даугавпилса размещался лагерь по приему, сортировке и разоружению прибывающих. В списках (датированы 27 сентября) учтены: пограничники и солдаты — 254, просто военнотружущие — 103, сержанты, капралы и старшие солдаты — 122, офицеры и капралы — 257, приложен отдельный реестр на 176 офицеров, отправленных в Улброку (под Ригой).

Аналогичные списки, датированные 25 сентября, велись и в Лиепайском лагере, зашифрованном именем «Тосмаре». Тут взято на карандаш 478 солдат и некоторое число офицеров.

Вероятно, в конце сентября 1939 года штаб Латвийской армии вел полагерный учет интернированных польских воинов. В Литенском лагере на это время значилось 50 полицейских, 66 пограничников, 79 солдат, 80 сержантов и капралов, 125 военнотружущих 4-го и 5-го авиаполков (прилетели из Лиды). В другом перечне — по-французски — 400 фамилий. В Цесисском армейском санатории размещалось 20 интернированных польских офицеров — полковники, лейтенанты, капитаны, майоры, ротмистры, а среди них полковник генштаба Эдвард Перкович. У некоторых в Сигулдском лагере для гражданских беженцев (был и такой) жили семьи. В списке Лиластского лагеря — 394 солдата и капрала, 122 летчика, на отдельных листах без дат учтено 117 солдат и инструкторов, 78 пограничников, 61 полицейский, 22 члена «народной охраны». Улброка в сентябре считалась офицерским лагерем, здесь числилось только 80 человек, но среди них много солдат и сержантов. Вообще по спискам трудно судить о лагерном населении, так как некоторые из этих бумаг составлялись на перемещаемых лиц.

Действительно, в декабре интернированных опрашивают, куда бы они хотели выехать. Сохранилось предписание помощника начальника штаба армии генерала Букса от 1 декабря, адресованное командиру 7-го Сигулдского пехотного полка. Генерал предлагает разъяснить полякам, что возможна отправка в Германию, Россию и Литву, выезд же в нейтральные страны затруднен. 18 декабря появляются первые списки; в Германию пожелали выехать из разных лагерей 193 человека, среди них нет ни одного офицера. Декабрем датирован и другой перечень, составлявшийся наспех, без указания чинов, — это желающие попасть в СССР, всего 422 человека. «Литовский» список является лишь в мае 1940 года и насчитывает 133 фамилии, причем Литва разослала специальные выездные анкеты, подлежащие обязательному заполнению. Фигурирует еще и отдельный список тех интернированных, кто «в свое время зарегистрировался на предмет выезда в консульстве США в Варшаве», это 83 человека. Имеется и документ на 60 поляков, главным образом офицеров, желающих уехать в нейтральные страны; здесь против каждой фамилии помечено наличие собственных средств на визу и дорожные расходы; ясно, что это обстоятельство является решающим.

Но даже при наличии средств попасть можно только в Швецию, так как в Европе идет война. 29 декабря туда отправляется примерно 60 поляков. В эти же дни 427 солдат отбывают в Германию, несмотря на известный антагонизм между поляками и немцами, многократно усиленный завоеванием Германией Польши. О том, что решение уехать в эту страну давалось не просто, свидетельствует инцидент в Литенском лагере. Согласно десятистраничной депеше следователя (подпись неразборчива), польские летчики во главе со старшим барака Домбровским избили тех, кто собрался в Неметчину. Домбровский избежал наказания потому, что в 1920 году воевал в латвийских войсках, освобожденных от большевиков Двинск.

Остальные интернированные остаются в Латвии до середины 1940 года, некоторые — дольше; во всяком случае последний, Улброкский ла-

герь закрывается в октябре, уже при Советской власти, установленной летом 1940 года. Последний документ «польского дела» датирован 11 октября.

Читатель может спросить, почему интернированные не выехали в СССР (из тех, кто туда записался) в то же время, что и в другие страны? Это отдельный вопрос, и мы еще к нему вернемся.

ТУТ НЕ ГУЛАГ

В цивилизованном, нетоталитарном государстве — а независимая Латвия, несмотря на диктаторский режим Улманиса, таковым безусловно являлась — с беженцами в военной форме обращаются согласно международным нормам и, разумеется, по-человечески. И может ли быть иначе в нормальном обществе, где царит закон, а не произвол?

В фонде № 6455 сохранились инструкции и распоряжения лагерной комендатуры. По ним можно без труда реконструировать жизнь и быт интернированных. Вот, скажем, план Лиепайского лагеря. Охрана состоит из 30 латышских солдат и офицеров, которым предписывается с заключенными в разговоры не вступать, а при попытке к бегству применять оружие после двукратного предупреждения. Питание в лагере — по нормам Латвийской армии. Если у интернированного при себе личных вещей нет, ему выдают пальто или полушубок, сорочка, брюки, шапка, перчатки, 2 нательные рубашки, два полотенца, две пары кальсон, по две наволочки и простыни, две смены портянок, затем носовые платки, сапоги, одеяла — словом, все, что нужно для жизни солдату. (Кстати, по словам Вилиса Сталажса, в оккупированных Латвию частях Красной Армии зимние портянки Латвийской армии выдавались как шарфы.) Помощь заключенным оказывает Красный Крест — занимается поисками их семей, снабжает почтовыми открытками, папиросами «Спорт». Интернированным обменивают деньги — за 10 золотых дают один лат. Солдаты получают посылки, книги.

Лагерников используют на различных работах. Трудоустройством, как и повсюду в Латвии, занимается созданный в 1939 году «Центр труда» —

		2. Imiona <i>Adam</i>
		Nazwisko <i>Rudzki</i>
1. <i>Rzeczpospolita</i> Wzrost _____ Nos <i>siate wyf.</i> Wlosy <i>czarno</i> Usia <i>ciotulic</i> Brwi <i>czarno</i> Broda <i>wyf. wyf.</i> Oczy <i>bruno</i> Twarz <i>owalna</i> Specjalne znaki _____ <i>W. Rudzki</i> <small>(z podpisem właściciela księgi)</small>		3. Imiona rodziców: <i>Wiktor</i> <i>Zadwija</i> <small>(ojciec)</small> <small>(matka)</small>
4. Urodzony dnia <i>3</i> <i>XII</i> r. <i>1901</i> w <i>Petersburgu</i> gmina _____ powiat _____ wojew. _____		5. Język macierzysty <i>polski</i> Narodowość <i>polska</i> Wyznanie <i>niema</i>
6. Wykształcenie cywilne: w chwili wydania książ. _____ <i>Adama Rudzkiego</i> Późniejsze zmiany _____		7. Zawód cywilny: w chwili wydania książ. <i>wrodek</i> Późniejsze zmiany _____

Из фонда № 6455. Документ подпоручика 13-го уланского полка Адама Рудзкого. До вступления в армию — директор Гданьского (Данцигского) порта. Уехал в Швецию.

направляет на лесные работы, к сельским хозяевам и т. п. Разумеется, без конвоя. Многие крестьяне пишут заявления с просьбой выделить им в помощь польских военнопленных, оплата по установленным ставкам. Впрочем, не всем крестьянский труд оказывается по силам. Перед нами список военнослужащих, «вернувшихся в лагерь с лесных и полевых работ». Человек 200, из них около 60 расстались с хозяевами. Причины отказа от работы — спину ломит, физически тяжело на лесоповале, на торфоразработках. Вот любопытная запись: Бронислав Грабарь отказался работать на хуторе «Капури» в Адажи, потому что заставляли спать в курятнике...

Лагерь для поляков именуется концентрационными. Что, однако, означает это слово? Всего лишь место сосредоточения людей. Свое злое значение оно обрело благодаря усилиям гитлеровцев и сталинцев. Режим латвийских «концлагерей» засвидетельствован документально: интернированным военнослужащим разрешается под честное слово, переодевшись в гражданское платье, навещать свои семьи, нашедшие пристанище в Латвии; больных лечат в Рижском военном госпитале; допускает-

ся посещение заключенных родными (в одной тетради, неизвестно какого конкретно лагеря, с 17 ноября 1939 г. по 14 января 1940 г. зафиксирован 181 посетитель); бараки отнюдь не перенаселены — в каждом из 8 бараков Лиластского лагеря по 30 человек, а в офицерском всего 8; у интернированных столько денег (в одном Лиепайском лагере — около 76 000 злотых), что они сумели собрать пожертвования в пользу Латвийской армии на сумму 3,2 тысячи злотых, за что генерал Букс в письменной форме высказывает благодарность некоему Франтишеку Питеку.

Не обходилось, конечно, и без наказаний. В архивном фонде хранится анонимная тетрадь регистрации наказаний, введенная в октябре 1939 года и оконченная 12 апреля 1940 года. Они стереотипные — заключение на гауптвахту, то, что порусски называется «посадить на губу». На 3, 5, 10, 15 суток, иногда «на хлеб и воду». За что? Покалечил лошадь, подстрекал отлынивать от работы, бродил по Риге, опоздал из увольнения (давалось на 40 часов), не протопил печь в бараке, отказался прибрать свое личное место, нарушал больничный распорядок, не сдал оружие, организовал побег, писал хода-

тайства в разные инстанции без ведома лагерного начальства... Словом, обычные проделки молодых ребят, хотя и бывших солдат, бунтующих против лагерной дисциплины, к стати ни в чем не выходящей за рамки Женевской конвенции о военнопленных (в бумагах фонда есть выписки из женевских документов, составленные на русском языке).

На одном, особенно часто встречающемся нарушении я, Улдис Ласманис, хотел бы остановиться специально — речь идет о бесчисленных наказаниях польских солдат за отказ работать на кухне. Мне довелось еще мальчишкой вкусить режим ГУЛага на якутских урановых рудниках (с 1949 года, Большой Немнур) и потом армейской дисциплины в Туркмении. Прошу понять меня правильно — я ничего не имею против Советской Армии 50-х годов. Но читая арестные записки «за отказ идти на кухню», я сразу же вспоминаю свои давние «приключения». Там, на севере, попасть на кухонные работы — да это же было несказанным счастьем, несбыточной мечтой: забыть про жалкие ломтики пайкового хлеба, утолить этот вечный терзающий голод! Впрочем, и в армии новобранцу вечно хотелось есть (правда, мучения были не такие уж сильные, как на якутском «курорте»), мы, молодые солдаты, отнюдь не опасались попасть «под власть повара». Видать, рацион Латвийской армии вызывал у гордых парней совершенно иные эмоции, коли нипочем и «губа» за отказ от унижительной черной работы. Я человек далеко не кровожадный, но мне интересно было бы узнать, какие мысли приходили в голову тем бравым польским ребятам, которые после латвийских «концлагерей» очутились в сталинских или гитлеровских застенках. Боюсь только, спросить не у кого...

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ КАРТОТЕКА

Учетные карточки интернированных польских военнослужащих — главные и, по-видимому, самые точные документы архивного фонда № 6455. В каждой такой карточке — обычные анкетные данные о человеке (фамилия, имя, отчество, семейное положение, образование, год и место рождения, подданство и националь-

ность, сведения о паспорте или другом документе, удостоверяющем личность, место «прописки», место жительства, род занятий, отношение к воинской повинности) и дополнительная информация — куда желает выехать, где содержался в Латвии и чем закончилось его пребывание здесь.

Картотека упорядочена по алфавиту и месту убийства обитателей лагеря. Картина следующая: в Германию выехало, как уже упоминалось, 427 человек, в нейтральные страны — 61, в Литву — 37, в СССР (об этом ниже) — 944. Из Сигулдского лагеря для гражданских беженцев удрало 15 офицеров высокого ранга. Розыскных карточек 79. Один документ на умершего человека. Таким образом, общее число поляков, интернированных в латвийских лагерях в 1939—1940 годах, — 1564. Видимо, близкое к действительному число, если сопоставить эти данные со скупой информацией прессы осенью 1939 года.

Итак, в Германию и Литву добровольно уехали те, кто раньше жил на соответствующих территориях. Направляющихся к немцам никто не принимал, они добирались на свой страх и риск, офицеров среди них было всего четверо: уехавшие в декабре со всей группой подпоручик Юзеф Мусаль, поручик Винцент Нопорский, поручик Станислав Полач и задержавшийся до 1 мая морской летчик лейтенант Иоахим Копп. Несколько больше офицеров среди тех, кто выбрал Литву: подпоручик Эдуард Ловчинский, врач — подпоручик Хананий Перельман, подпоручик Винцент Раковский, подхорунжий Александр Семашко, подпоручик Ян Соболевский, подхорунжий Людвиг Вершель. Все они уехали 23 апреля или 7 июня 1940 года — видимо, литовское правительство медлило с выдачей виз, так как в делах попадаются как заполненные, так и пустые иммиграционные анкеты.

Среди тех, кто 29 декабря 1939 года и 10 января 1940 года отправился в Швецию, наоборот, было всего несколько солдат, шоферов. Остальные — офицеры. Надо надеяться, что все они вытаскивали счастливый билет.

Розыскные карточки (79) заведены на тех интернированных военнослужащих, кто уже числился в бегах

к моменту утраты Латвией своей независимости. Тут солдаты, капралы, сержанты, учащиеся, жандармы и 12 подхорунжих — летчиков польского 5-го авиаполка: Андрей Блаудзевич, Владислав Бурак, Тадеуш Вишневский, Леон Келбонский, Казимир Ковалевский, Богдан Крахельский (исчез с хутора «Луксты» Ипикской волости, принадлежавшего Екабсу Лиллису; по слухам, ушел в Финляндию), Владислав Ленартович, Георг Похоский, Стефан Радович, Леон Хоронжи, Ян Шавек, Юлий Шиманский.

Все они, как и рядовые, сержанты, не жили в лагерях, а работали по распределению «Центра труда» у хозяев, в лесу, на торфяных болотах и т. п. Время исчезновения — самое разное с февраля по август 1940 года. Судьба этих людей, включая бесшабашных молодых пилотов, неизвестна.

Теперь об отправке в Советский Союз. Отправляться туда добровольно не спешили даже те, кто высказал такое желание во время опроса. Около тысячи человек, находившихся в Латвии в первой половине 1940 года (то есть не уехавших в Германию, Литву и Швецию), почему-то не торопились в Страну Советов, чего-то ждали, на что-то надеялись. Поскольку массовый расстрел польских офицеров под Смоленском произошел в апреле 1940 года, возникает вопрос, не донесли ли отголоски этой трагедии до тех, кто еще под Новый год записался на выезд в СССР? Может быть потому и мешкали. Развязка наступила вскоре после оккупации Латвийской Республики Красной Армией, прихода к власти марионетного «народного правительства» и присоединения республики к СССР. Поскольку в Катыви были убиты именно офицеры, мы остановимся лишь на судьбах оставшихся в Латвии польских офицеров и унтер-офицеров. Понятно, что все те, кто отправился в СССР, попали в лапы Берии.

Сначала уточним терминологию. Если в другие страны поляки действительно «уезжали», то в картотечном массиве, относящемся к убитию в СССР, значит, другая формулировка — «передан представителю Красной Армии». Известна даже одна фамилия «приемщика» — некто Мосолов, правда представлявший иное

ведомство — НКВД. Почти что ни в одной, подчеркиваем это, карточке переданных в распоряжение Красной Армии польских военнослужащих нет записи «желаю выехать в СССР». Все эти люди, судя по отметке в 13-м пункте учетной карточки, хотели уехать в Америку, Англию, Францию (в польский легион), Бразилию... остаются в Латвии (увы, к тому времени уже распотанной Сталиным).

Первая массовая «передача» состоялась 22 августа из Улброкского лагеря, среди включенных в эту команду было 84 офицера и нижних чина. С этой трагической датой связано и другое событие — 19, 20, 23 августа убегают из больниц, не возвращаются из отпуска польские офицеры (большей частью полицейские), отлично сознающие, что их ждет: подполковники Казимир Золовский, Леон Раппевиц, Франтишек Новак, майоры Юзеф Мачиевский, Витольд Фрубецкий, капитаны Станислав Краевский, Юзеф Колесник, подпоручик Ян Йодинис и др.

2 сентября представителям Красной Армии передаются 18 офицеров и нижних чинов из числа военнопленных Улброкского лагеря.

9 сентября передан Красной Армии «под стражу» подполковник пограничных войск Александр Краевский, чье имя как недисциплинированного офицера неоднократно встречается в прежних документах; 29 сентября он отправлен в СССР.

22 сентября представителю Красной Армии переданы хорунжий Александр Копалинский и майор из института военной географии Юзеф Оленский.

29 сентября «отправлены в СССР» капитан Юлиан Друммер и лейтенант Ян Шульц.

Много хлопот доставил властям летчик, в прошлом студент-журналист, подхорунжий Ян Радоньский, проживавший вообще-то на хуторе «Гуллитес» в Яунгулбене у Артура Скрастиныша. Ян был задержан 23 октября, препровожден в тюрьму, а 16 ноября отправлен в Советский Союз.

19 ноября выехал в СССР (не были переданы представителем Красной Армии) капельмейстер поручик Ян Копчинский и капитан Михаил Верушевский.

Для полноты картины упомянем и

высланного в СССР еще властями Латвийской Республики 19 апреля учителя Альфонса Станкевича, окончившего курсы офицеров запаса 62-го полка.

В приложении к статье публикуются списки остальных польских офицеров и нижних чинов, неизбежно очутившихся в разных береговых лагерях, скорее всего разных, потому что отправлялись в СССР двумя командами. Предать гласности эти документы — наш долг, особенно в свете катынской истории.

КТО ОТВЕТИТ!

Среди интернированных в Латвии поляков были представители разных родов войск — артиллерии, пехоты, авиации, пограничных частей, народной охраны, один офицер с бронепоезда (капитан Рахальский), а также немало полицейских чинов. (Кстати, среди убитых под Смоленском ни один полицейский не упомянут.) Всего в СССР было отправлено свыше 100 польских офицеров. Что с ними стало — расстреляли их, как в Катыни, или заточили в лагерях ГУЛага?

Один из авторов этой статьи видел в Якутии, на холме посреди богатейших брусничников, в цветочном сиянии тундры, погост, и там — добротные сработанные надгробные камни с

надписями: «паны... 1890—1940». Только вот фамилии стерлись из памяти.

Необходимо немедленно открыть все архивы, обеспечить к ним доступ польских, латвийских, советских историков. Нам нужна вся правда, а не дозированная информация по соизволению свыше.

Р. С. Когда статья уже была написана, нашелся, наконец, человек, который смог кое-что рассказать о жизни интернированных поляков в Латвии. Это сотрудник архитектурной инспекции города Риги Александр Янсонс. «Осенью 1939 года, — припомнил Янсонс, — меня, резервиста, призвали на сборы и отправили в Лиласе, в летний военный лагерь. Там, в бараках, жили под охраной интернированные польские военнопленные. Я выполнял обязанности фельдшера. Все мы: поляки, охранники, обслуга — ели «из одного котла». Интернированные — кто хотел — работали в лесу. Иногда паны давали деру, но дальше моста через Юглу убежать им не удавалось — ловили. Я пробыл на сборах пару месяцев, потом меня демобилизовали. Хорунжие, солдаты и поручики оставались в лагере. Я ничего о них больше не слышал и не читал...»

Может, откликнется еще кто-нибудь?

СПИСОК

польских офицеров и унтер-офицеров,
переданных представителям Красной Армии
из Улброкского лагеря под Ригой 22 августа 1940 г.

1. Бенрот Франтишек, майор.
2. Билинский Войцех, капитан.
3. Борон Тадеуш, подпоручик.
4. Бруннер Чеслав, капитан гл. штаба.
5. Витковский Ян, капитан.
6. Войцеховский Ксавер, поручик.
7. Войцеховский Эугений, капитан.
8. Волчатский Павел, подпоручик.
9. Греле Андрей, подхорунжий.
10. Гурский Казимир, майор.
11. Гут Станислав, поручик.
12. Дащишак Михаэс, капитан.
13. Жилинский Тадеуш, подпоручик.
14. Жуковский Ежи, подхорунжий.
15. Жулкевич Мечислав, подхорунжий.
16. Заглевич Владислав, поручик.
17. Казак Владимир, капитан.
18. Карневич Болеслав, капитан.
19. Карницкий Бруно, подпоручик *.
20. Кисель Тадеуш, подхорунжий.
21. Коминковский Александр, капитан.
22. Козловский Хенрик, капитан.
23. Костшановский Болеслав, поручик.
24. Кропивницкий Ежи, поручик.
25. Круль Ян, капитан.
26. Кубцкий Болеслав, подпоручик.
27. Куклич Константин, поручик.
28. Куликовский Витольд, подпоручик.
29. Куровицкий Станислав, подхорунжий.
30. Куява Флориан, подпоручик.
31. Липинский Зигмунд, подпоручик.
32. Лутостанский Леон, капитан.
33. Макар Юзеф, поручик.
34. Маньковский Рихард, поручик.
35. Маньковский Стефан, капитан.
36. Масловский Хенрик, поручик.
37. Мисиак Константин, поручик.

* 01.08.40 вызван с хутора «Лоцмуйжа» Циблаской волости Лудзенского уезда,

где жил и работал вместе с женой и ребенком.

38. Мицкевич Игорь, кадет-подхорунжий.
39. Морек Георг, подхорунжий **.
40. Мостовский Адам, майор.
41. Мосцицкий Болеслав, капитан.
42. Мостылевский Альфред, подпоручик.
43. Немиро Стефан, капитан.
44. Олех Бронислав, поручик.
45. Осмакевич Франтишек, капитан.
46. Палух Зигмунд, подпоручик.
47. Пахович Августин, капитан.
48. Пастушко Богдан, подпоручик.
49. Петшиковский Тадеуш, капитан.
50. Пико Владислав, капитан.
51. Плочинский Евгений, капитан.
52. Прокопович Владимир, поручик.
53. Пшибыльский Антон, капитан.
54. Радзукевич Антоний, поручик.
55. Рахальский Бронислав, капитан.
56. Ренкавич Зигмунд, поручик гл. штаба ***.
57. Романовский Збигнев, подхорунжий.
58. Росада Зигмунд, поручик.
59. Сива Казимир, подпоручик.
60. Смолка Болеслав, подпоручик.
61. Сорбейс Корнелиус, подхорунжий.
62. Сорочинский Людвиг, капитан.
63. Станио Франтишек, поручик.
64. Сташак Стефан, подпоручик.
65. Стенк Мариан, подпоручик.
66. Сумовский Владимир, поручик.
67. Сусицкий Мечислав, капитан.
68. Тендорф Теофил, хорунжий.
69. Туркевич Зигмунд, поручик.
70. Урих Феликс, подпоручик.
71. Фельдман Тибериус, подпоручик.
72. Фрейлих Леон, капитан.
73. Хмелевский Здислав, ротмистр.
74. Хриневич Франтишек, подпоручик.
75. Цимерский Антоний, капитан.
76. Цунфт Ях, ротмистр.
77. Чаровский Антон, подпоручик.
78. Чепеланис Ян, поручик.
79. Чесликowski Хенрик, капитан.
80. Числак Витольд, подхорунжий.
81. Юшкевич Тадеуш, подпоручик.
82. Яковицкий Витольд, ротмистр.
83. Ясинский Сигизмунд, подхорунжий.
84. Ященокский Леон, капитан.

** До августа 1940 г. работал на хуторе «Дреймани» Бабитской волости у Э. Нейманиса.

*** Бывший чиновник министерства иностранных дел Польши.

**СПИСОК
польских офицеров и унтер-офицеров,
переданных представителям Красной Армии
из Улброкского лагеря под Ригой 2 сентября 1940 г.**

1. Герлик Владислав, подхорунжий.
2. Глодзик Владислав, врач-капитан.
3. Гулуль Леон, подхорунжий.
4. Длугоборский Игнатий, поручик.
5. Каминский Хенри, подхорунжий.
6. Карлович Эдуард, поручик запаса.
7. Келек Хиларий, хорунжий.
8. Климчак Владислав, подхорунжий.
9. Корчак Казимир, хорунжий.
10. Кроузе Станислав, подхорунжий.
11. Кшановский Станислав, подхорунжий.
12. Липп Язеп, подхорунжий.
13. Лопатинский Станислав, подхорунжий.
14. Лозовский Станислав, подхорунжий.
15. Майлих Зенон, подпоручик.
16. Немчик Мечислав, врач, ст. лейтенант.
17. Петрашкевич Ян, поручик *.
18. Савицкий Стефан, подхорунжий.

* Выразил желание остаться в Латвии, поскольку его семья проживала в Резекне, на ул. Краста, 41.

Р. С. За время работы над журналом появились дополнительные сведения о судьбе некоторых польских офицеров.

В. Стукулс (Валмиерский район) сообщил нам, что с сентября 1939 года у него на хуторе «Бривземниекс» Засской волости Екабпилсского уезда жил и работал офицер польской кавалерии — преподаватель конного училища Тадеуш Тхожевский. В наших списках такой фамилии нет. Значит, списки неполные? По указанию властей в августе 1940 года этот офицер был посажен в поезд на станции Ливаны и отправлен в Ригу. Потом он будто бы пытался выехать на Запад, но был схвачен и расстрелян. 14 июня 1990 года в газете «Прогресс»

Лимбажского района опубликовал свои воспоминания бывший офицер латышской армии Арнольд Страуме. Во время войны он встречал польских офицеров «по соседству» — в Юхневском лагере (Вятлаг). Поляки были недовольны латышами, которые «выдали их русским». Значит, по крайней мере некоторые польские офицеры, переданные советским властям осенью 1940 года, к началу войны были еще живы. По слухам, пишет Страуме, их расстреляли в 1942 году. Несчастные жертвы сталинско-бериевского произвола все ждали — вот-вот «недоразумение» выяснится, их выпустят на волю, и они пойдут сражаться с фашистами...

«MĒS» UN MĒS

Небывалая волна публикаций русской прозы 1920—1950-х годов накрыла с головой современное наше литературоведение. Стало ясно, что по-старому об этом писать невозможно, а по-новому — мы не умеем. Не обучали нас в университетах анализировать «Котлованы» и «Докторов Живаго». Видя, как перераспределяются факты истории так называемой советской литературы, ее исследователь (если он еще окончательно не отупел) не может не понимать, что писать как ни в чем не бывало критические статьи о Платонове и Набокове, как их раньше писали о прочих достойных советских писателях, которых у нас, как известно, тьма тьмущая, — занятие неприличное, пошлое, пустое и вполне советское.

Между тем по инерции издаются книги этих достойных. Продолжают выходить толстые журналы. Общество, как всегда, старается прятать глаза, пытаясь не замечать того, что произошло. Произошло же то, что русская литература погубила советское литературоведение, погубила его окончательно и бесповоротно. Исследовательские школы по изучению Пушкина, Толстого и Достоевского формировались десятилетиями. После того как формалисты

благополучно «преодолевали» свои «заблуждения», еще оставалась какая-то более или менее благопристойная история русской литературы досоветского периода. Но традиций по изучению творчества Набокова и Платонова как ни крути невозможно создать в рамках академического Института мировой литературы.

Итак, русская словесность продолжает душить официоз. Официоз и полуофициоз пытаются сопротивляться. Они пытаются по-новому осмыслить старое и по-старому осмыслить новое. Даст Бог, из этого ничего не получится. Нельзя, как известно, вливать молодое вино в мехи ветхие. Для того чтобы нормализовать литературный процесс, надо позакрывать старые «Новые миры», погасить перестроечные «Огоньки» и все начать сначала.

Вообще неверно думать, что литературная критика есть неотъемлемая и необходимая часть литературного процесса. Вовсе нет. Наоборот, я убежден, что сейчас-то как раз она совершенно ни к чему. Критика появилась в Европе во времена Просвещения, так же как и журналистика. Многие великие литературы, например китайская или классическая античная, вообще без нее обходились. Так что не надо плакать, что не родились новые Белинские.

Zamjatsins I. Mēs. — R.: Liesma, 1990. [Замятин Е. Мы].

Наоборот, радоваться надо, что некому больше наносить своим сомнительным авторитетом столько вреда российской словесности.

Роман Замятина «Мы» можно рассматривать в двух руслах: в русле антиутопии XX века и в русле русской прозы 1920-х годов. В любом случае «Мы» сейчас может быть адекватно воспринят только как ретророман. Мы не можем занять позицию современников этого произведения (именно поэтому критика применительно к произведениям прошлого — занятие такое же бессмысленное, как, например, рекламирование в конце XX века изобретений Эдисона). Будучи поставлено в ряд антиутопий последующего времени: «О дивный новый мир» О. Хаксли, «Слепящая тьма» А. Кёстлера, «1984» Дж. Оруэлла, «Зияющие высоты» А. Зиновьева (не претендуя на полноту, я называю лишь наиболее значительные произведения), — «Мы» весьма проигрывает. Воображению русского писателя, воспитанного на Льве Толстом с его рисовыми котлетками и Достоевском с его слезинками замученного младенца, а также на изломанном, но сытом символизме, и не снилось то, чем нас сегодня ежедневно пичкают средства массовой информации. И хотя «Мы» послужило во многом жанровой и историко-литературной основой для «1984», эта сторона дела, во-первых, не так интересна, а во-вторых, для ее освещения необходимо хотя бы в общих чертах представлять историю европейской литературы XX века. «Но мы истории не пишем . . .»

Тем, кто читал перечисленные выше произведения и сравнивал их с замятинским романом, последний должен был показаться наивным. Как наивна, скажем, «Аэлита» А. Н. Толстого. Юрий Тынянов в статье «Литературное сегодня» (1924) недаром сравнивал эти два произведения, подчеркнув, что «поразительная невозможность выдумать что-либо о Марсе характерна не только для Толстого». Представление о будущем как о чем-то заполненном геометрическими фигурами и математическими формулами, давно изжитое научной фантастикой, бьет в глаза в романе «Мы». Наивность соединения неологизмов и архаизмов

тоже достаточно характерна. «И все же «Мы» — это удача, — таковым было заключение одного из самых авторитетных литературных экспертов эпохи. Вероятно, через 65 лет бесполезно с этим спорить. Другое дело, можно сомневаться, удачной ли является публикация замятинского романа теперь.

Роман «Мы» написан на рубеже эпох. По своему стилю — угловатость, разорванность синтаксических конструкций — это типичное произведение 1920-х годов. По сюжету и — шире — по архитектонике образов оно все в прошлом, в русле символистской прозы начала XX века, причем не столько в ее наиболее выдающихся проявлениях (Сологуб, Андрей Белый), а скорее в эстетско-архаизующем направлении (Мережковский, Брюсов).

Сама интрига несомненно уходит корнями в русскую литературу XIX — начала XX века. За душу героя борются две женские стихии: мятежная 1-330 и робкая и «правильная» 0-90. Это явное воспроизведение треугольника: князь Мышкин — Настасья Филипповна — Аглая («Идиот» Достоевского), треугольника, который характерен и для Мережковского («Христос и Антихрист»), и для Брюсова («Огненный ангел»). Но, конечно, эта чисто русская, соловьевская мифология («красоты, которая спасет мир» имеет более глубокие корни: в русской литературе это культ Богородицы, в более широком культурном ареале — культ всякого женского начала как идея плодородия, с одной стороны, и смерти — с другой. Поскольку роман-миф создавался именно в XX веке, то и для него характерен образ женщины как плодоносяще-смертоносного начала — Молли в «Улиссе» Джойса, Кэдди в «Звук и ярости» Фолкнера, мадам Шоша в «Волшебной горе» Томаса Манна.

При этом в романе «Мы» — и это тоже одна из характерных черт романного мышления XX века — негативно актуализируется тема, на которой построен весь роман XIX века — тема семьи, ребенка, продолжения рода. В конце XIX века и первой половине XX эта тема еще играет значительную роль в произведениях реалистического, условно говоря, направления («Будденброки»,

«Сага о Форсайтах», «Семья Тибо»), но ее основной мотивный стержень — распад семьи и — шире — распад родового начала (начало здесь положено Щедриным в «Господах Головлевых»). Тема распада семьи встречается также в некоторых произведениях неомифологического направления: у Джойса, Фолкнера, в «Иосифе и его братьях» Томаса Манна. Однако она полностью редуцируется в таких ключевых для XX века произведениях, как «Процесс» и «Замок» Кафки, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус» Томаса Манна, «Человек без свойств» Музиля, «Игра в бисер» Гессе, «Посторонний» Камю и других. Мир, избражаемый в этих произведениях, — это мир, лишенный прошлого и не имеющий будущего, выморочный. Указанная особенность характерна и для антиутопии XX века. Здесь либо деторождение ставится на конвейер (например, у Хаксли), либо эта тематика снимается вообще, сменяясь более актуальной темой личного выживания, — «Слепящая тьма», «1984».

Пожалуй, роман «Мы» интересен в наибольшей степени своей технологической стороной, тем, что поставило его в ряд заметных произведений своего времени, тем, что Тынянов в упоминавшейся статье называл «языковой фантастикой» Замятина.

Вероятно, один из непосредственных стилистических ключей к технологии романа — это отсутствие собственных имен. Собственное имя — одна из главных черт словесной ткани любого художественного произведения, одна из определяющих координат его художественного мира. От того, как зовут героя — Молчалин, Онегин или Раскольников, — зависит отнесение произведения к литературному направлению и литературному жанру. Имена не имеют значения, но наполнены смыслом, они обрастают ассоциациями, культурными, фонетическими, камерными, известными только узкому кругу людей. Более того, имя — это единственное, что вообще есть у героя в художественном произведении, это то, что делает его живым, актуализирует его. Но у замятинских героев имен нет. Вместо них буква и

число: Д-503, 1-330, 0-90. Тем самым создается ситуация, также работающая на основную художественную идею романа. Герои отрезаны от культуры прошлого, они не просто выдуманы, они выдуманы как обреченные и обезличенные. Собственное имя — это лицо конкретного человека, оно присваивается не по напущению каких-то признаков, а по произволу. Как говорят современные философы, имя — это жесткий десигнатор, то есть знак, значение которого не меняется при переходе из одного возможного мира в другие; имя уникально, оно приписывается конкретному объекту по произволу, не являясь обозначением определенного свойства. Число — не жесткий десигнатор, его значение меняется при переходе из одного возможного мира в другой, оно обозначает свойство (количество) и может быть приписано любому объекту.

Числовое обозначение заключенных использовалось в практике гитлеровских концлагерей. Кажется, «мы» до этого не додумались. Зато в сталинское время процветала другая важная и также обезличивающая трансформация имен; то, что Бертран Рассел называл определенными дескрипциями, то есть выражения типа «гений всех времен и народов». У Замятина дескрипции также используются очень широко: **Машина Благодетеля, Древний Дом, Площадь Куба и т. д.** Числа и дескрипции вместо живых имен — признак разложения (1-330 говорит главному герою: «По вас цифры ползают, как вши»).

Все же магия имени настолько велика, что даже начальные буквы, которые остаются у героев, начинают играть смысловыми обертонами: «Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, 1-330 (вижу теперь ее номер), налево — 0, совсем другая, вся из округлостей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне номер — какой-то дважды изогнутый вроде буквы «S»».

Собственных имен в романе почти нет вообще, не упоминаются исторические деятели и названия мест. Только один раз появляются имена Адама и Евы, но это как бы праиме-

на, и они присваиваются, приписываются героям в момент накала их чувства, как признак их временного «вочеловечивания». Как раритетное употребление, это представляется удачным приемом, в достаточной степени семантически нагруженным. Появляющиеся в романе еще два имени собственных — Эльдо-радо и Иисус Навин, — как кажется, семантической нагрузки не несут и их следует приписать авторскому просчету.

Другая важная стилистическая особенность романа — это синтаксис, достаточно смелый даже для своего времени: эллиптические конструкции, разорванность фразы, отсутствие то предикативного центра, то подлежащего. С другой стороны, некоторая нервная четкость, отрывистость или, во всяком случае, стремление к ней. Все это очень хорошо работает на семантику. Синтаксис отражает разорванность сознания героя: его стремление к подчинению власти и порядку, с одной стороны, и сомнения и смятенность — с другой. Герой как бы все время находится в ножницах. Неслучайно именно слово «ножницы» становится одним из важнейших стилистических мотивов. «Ножницы» напоминает главному герою персонаж «Б», сотрудник тайной полиции и в то же время один из заговорщиков. Мотив варьируется, он подчеркнут предметами, актуализирующими идею двойного числа и расчлененности. Все время подчеркиваются изломанные брови или губы героев, а также крылья и даже што-

ры, которые надо опускать во время запланированных половых актов. Например: «По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест». Крест (тоже вариант ножниц) — один из наиболее универсальных и амбивалентных символов в культуре, символ страдания, Голгофы, символ веры, а стало быть, и надежды; с одной стороны, фаллический символ, с другой — ионический (если иметь в виду его сердцевину). Все эти ножницы-губы-брови-шторы-крылья-кресты весьма тонко и ненавязчиво, но достаточно целенаправленно работают также на один из основных семантических узлов — разорванность сознания героя.

Как известно, роман «Мы» имел своеобразную судьбу. Написанный в 1920 году, он был издан не в России, а в Берлине. Все знали о том, что он существует, но напечатан он был впервые у нас лишь в 1988 году в журнале «Знамя». Прочитав его с огромным опозданием, читатель был справедливо разочарован. Для того чтобы отнестись к этому произведению адекватно, нужно быть историком литературы, а настоящие заметки могут справедливо показаться таким же анахронизмом, как и запоздалая замаятинская антиутопия. Впрочем, нам ведь только кажется, что время течет в одну сторону, неуклонно, вперед, к победе коммунизма. Как сейчас модно говорить, «существуют и другие точки зрения».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ

Факты и гипотезы

Речь пойдет именно о мистификации, потому что ей по сравнению с фальсификацией присуща большая грубость изготовления подделки. Мистификатор не столько горит духом соревнования, не столько заботится о видимости достоверности, сколько желает сбить с толку, посмеяться над доверчивым читателем и одураченным знатоком.

Уже сама небрежность фактуры быстро вызывает сомнения. Но часто: не пойман — не вор. И поскольку авторство не раскрыто, подделка имеет свойство время от времени возникать и напоминать о том, что загадка не разгадана.

К числу таких периодически всплывающих подделок относится переписка Александра Блока с неким Leo Ly (Лео Ли).

28 августа 1921 г., спустя три недели после смерти первого поэта поколения, в русской газете «Руль»¹ появилась заметка «„Двенадцать“ (Собственный комментарий А. А. Блока)».

«„Двенадцать“ А. Блока, всеми признанное за самое выдающееся произведение революционного периода, вызывает, как известно, глубокие разногласия в оценке смысла его, поэтому и ради выяснения советских настроений поэта я почитаю дружеским долгом по отношению к светлой

памяти покойного привести одно стихотворение из его письма ко мне, датированного 19-м июлем 1920 г.

Письмо это я получил в ответ на мои вопросительные послания по поводу поэмы «Двенадцать», признанной большевиками за «свою» — кстати, хочу указать также и на характер эпистолярного стиля А. Блока, сильно отличный от его всем известных произведений.

Leo Ly

Я вижу девический лик
И вижу нечисть и проказу, —
Не обвиняй, — что я не сразу
Все понял и не все постиг!
Прости, — так хочется любить, —
Пойми, — так хочется

поверить . . .

Я чашу всю готов испить,
Чтоб только прошлое

похерить . . .

Мне тяжело, — я не могу . . .
Мне холодно: — в душе

мороз. —

Но, милый Лео, — я не лгу: —
Грядет, — уже грядет Христос!
— И . . . в древнем храме будем

мы

Молить с тобой коленосклонно,
Чтоб Дева-Мать из тяжкой тьмы
Взяла нас в сад свой

благовонный . . .

Живем в великие века: —

Все сбито, спутано и сжато . . .

Но разве прежде так легка

Была нам жизнь с тобой

когда-то? . . .

¹ «Руль» — русская эмигрантская газета (Берлин, 1920—1932); первые редакторы — И. В. Гессен, В. Д. Набоков, А. И. Каминка.

всю ложь, творимую вокруг него от имени бесконечно любимой родины.

1

И ты умолк? .. Ну, что же, что же?
Когда конец, — какой конец? ..
Ведь это же на смерть похоже?
Иль скажешь нет? — Скажи,
мудрец!

2

Ты помнишь: — мозг
неугомонный
Задел алеющий туман, —
Я зрячий — слепнуть стал
бессонно
И погружаться в океан
Пугливых дум. — Сперва —
двенадцать,
Потом еще, еще, — орда...
Как свора грязных псов
смердящих *
В крови, без лика и стыда —
Владычица, — спаси, помилуй!
Приди, Благая Божья мать, —
Приди, — любовью изнасилуй
И дай хоть след твой целовать,
Дай слезы счастья покаянья, —
Пройди бессрочно
тюрьмой, —
Где жизнь и смерть без
расстоянья, —
Где издевались над Тобой! ..
Будь с нами, — сгинут злые
силы!
Мы окружим, — Ты не уйдешь!
Молюсь Тебе перед могилой: —
Прийди и — прекрати правей!

3

А как ты там в Москве, в
П...ком
Жива ли, друг, твоя душа? ..
Пророку же на Т...ком
Скажи: — что ложь не хороша,
Что ею сгублен сон прекрасный,

Что в ней зловоние и мрак! ..
Да что писать ... И так все ясно.
Прощай, — я болен, я иссяк! ..

Твой А. Блок.

Кто же этот конфидент великого поэта, последний друг (в начале июня 1921 г. написаны последние письма Блока) с таким элегантно-русской печатью того времени.

Уже 2 сентября 1921 г. газета «Рижский курьер» напечатала заметку «Двенадцать», которая начиналась словами: «Наш сотрудник Leo Ly поместил в газете «Руль» следующее стихотворение из письма к нему А. Блока, полученного в ответ на вопросительное послание Leo Ly по поводу поэмы «Двенадцать» ...»

Кто же из сотрудников «Рижского курьера» мог прятаться под этим псевдонимом? Все они были наперечет. Газету делали Г. Гроссен, М. Тьедер, В. Гадалин, Н. Бережанский, Л. Король-Пурашевич и М. Цвик. Люди разные в смысле личной порядочности (так, бывший морской офицер М. Тьедер, служивший в отделе рыбоводства Министерства земледелия, был обвинен в мошенничестве и вымогательстве и получил 2 года тюрьмы) и соблюдения литературной этики (В. Гадалин, прибегая к множеству псевдонимов, многократно перелицовывал и пристраивал в разные издания одни и те же сочинения, а также широко практиковал «пиратский» выпуск произведений советских авторов), а в целом компания беззащитная. Но и на этом фоне особой бесшабашностью и полным отсутствием стыда отличался Леонард Юлианович Король-Пурашевич (впрочем, псевдонимов у него было пруд пруди, да и в фамилиях трудно разобраться — какая настоящая).

Восстанавливая в 1930-е годы историю детского журнала «Юный читатель», выходившего в начале века в Петербурге, писатель Е. И. Шведер вспоминал:

«В кружке, сконцентрировавшемся около нарождающегося «Читателя», появлялся иногда юноша, писавший под псевдонимом «Л. Кормчий». Был он человек не без таланта, и некоторые из написанных им рассказов из детской жизни по-

* Смердящих в оригинале надписано над зачеркнутым вихрястых (примечание Leo Ly).



Совещание в редакции газеты. Слева направо: Любовь Король-Пурашевич (корректор), Мария Гроссен (экспедитор), Генрих Гроссен (редактор), Леонард Король-Пурашевич (редактор), Д. Дагаров (секретарь редакции). Фото 1925 года.

ложительно хороши *, печатался в журналах для детей, а также в еженедельных (например, в «Пробуждении» Н. В. Корецкого), но был он какой-то неустойчивый, не умевший ни с кем ладить, говоривший всем резкости, а в редакциях требовавший настойчиво авансов, на каковой почве происходили размолвки и с редакциями. Его жестоко эксплуатировало одно издательство, выпускавшее книги «технического характера», поручая писать брошюры по разным вопросам. И чего-чего он не писал под разными псевдонимами. И о «лечении земляничкой», и о «приготовлении чернил», и о «выделке кожи», и «руководство по фотографии». Делалось это просто. Покупалась старенькая книжонка, кое-где сокращалась, кое-где перефразировалась, материал немного перегруппировывался — и брошюра была готова⁶.

В письме к составителю словаря псевдонимов И. Ф. Масанову

* Например, «Путешественники. Приключения двух беглецов», изд. журнала «Всходы», СПб, 1908 (примечание Е. И. Шведера).

⁶ ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 293, лл. 10—11.

Е. И. Шведер сообщал: «Леонард Юлианович Пирагис писал под псевдонимами: Л. Кормчий, Пермяк, Акимыч... Знал я его лично и за точность сведений ручаюсь»⁷.

По-видимому, мы можем указать еще один псевдоним того же автора — в серии альманахов «В борьбе» (1906), где напечатаны сочинения «Л. Кормчего», есть и несколько компилятивно-обзорных статей, подписанных «Лео».

До 1917 г. Л. Кормчий издал два десятка книжек. 17 февраля 1918 г. в газете «Правда» появляется статья Л. Кормчего «Забывтое оружие», перепечатанная в 1967 г. к пятидесятилетию советской власти (и соответственно советской детской литературы) в журнале «Детская литература». Статья была написана просто и решительно: «В том арсенале, которым располагала буржуазия для борьбы с социализмом, видное место занимала детская книга (...). Буржуазия употребила все средства к тому, чтобы детская книга была проникнута нужными тенденциями (...). Чтобы не разбрасываться, я обойду пока молчанием жалкую роль детского писателя в исконном заговоре

⁷ ЦГАЛИ, ф. 317, оп. 1, ед. хр. 395.

буржуазии против подрастающих поколений (...). Загнанная в угол буржуазия озирается, как дикий зверь, ища выхода, собирая осколки разбитого капитала...» И далее в таком же роде.

В том же году Л. Кормчий становится редактором большевистского журнала для детей «Красные зори». Сохранилось его письмо на бланке этого журнала к писателю И. А. Белоусову, датированное 25 апреля 1919 г.: «Очень рад Вашему отклику на дело, которое затеял я в новой свободной России»⁸. Но в 1920 г. мы застаем его уже в Латгалии⁹. В справке, которую он дал о себе берлинскому библиографическому журналу, так излагаются его приключения (в некотором противоречии с приведенными выше документами):

«Л. Кормчий (Леонард Юлианович Король-Пурашевич) в 1918 г., после разгрома буржуазной прессы, скрывался сначала в Архангельске, затем в Вологде. При попытке бежать к белым был арестован в Двинске, откуда его доставили в Петроград, где он и был приговорен к расстрелу в мае 1919 г. Однако ему удалось бежать из тюрьмы, и он жил в Режице, где был преподавателем гимназии. Оттуда перебрался в Ригу. Сотрудничает в газетах «Рижский курьер» и «Сегодня»¹⁰. Имеет готовыми к изданию рукописи «Серый домино» (большая повесть, 10 печатных листов), «Красное бедствие» (большая повесть для юношества на современные темы), сказки на современ-

ные темы. Ищет издателя для переиздания своих прежних книг для юношества, изданных журналом «Всходы»: «Юрка», «Путешественники», «Красавчик», «К лучшей жизни», «Год моей жизни» и др.¹¹

Принеся с собой в Ригу все худшее из мира бульварной печати Петербурга, Король-Пурашевич печально прославился тем, что, сотрудничая почти во всех русскоязычных изданиях, отовсюду был изгоняем, то и дело затевал какие-то новые газеты и журналы и, как правило, надувал подписчиков, то и дело отвечал по суду за диффамацию или другие проделки. Издавал шантажистский журнальчик «За кулисами Риги», где перебирал грязное белье всех, кто попадался под руку и не сообразил откупиться. Сотрудничал в еврейских изданиях, что отнюдь не мешало ему вести антисемитскую газету «Завтра», которую в 1934 г. прихлопнул пришедший к власти К. Улманис, не любивший свары и словесного мусора.

Переживший всю редакцию «Рижского курьера» Генрих Иванович Гроссен (1881—1974) в книге «На буреломе» при всем снисходительном отношении к прошлому вынужден был признать богомный образ жизни собрата по перу и, мягко говоря, его неразборчивости в средствах:

«Писал Кормчий на бытовые темы. Писал он хлестко и в защиту обиженного ввернуть сгоряча неприятное для обидчика словцо не стеснялся, вследствие чего редактору приходилось объясняться с жалобщиками, а то и платить штрафы... Всяко бывало»¹².

Но далеко не столь благодушно рисует его облик другой человек. Это рижанка — писательница Е. Магнусгофская (Е. Ф. Кнауф, 1893—1942). Вот ее-то имя действительно связано с именем Блока, так как существует письмо к ней поэта, в котором он дает оценку сделанному ею переводу из Гейне¹³. С 1926 по

⁸ ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 715.

⁹ См.: Кудрявцев В. Дома и в лодке с Леонидом Зуровым. — «Новый журнал» (Нью-Йорк), 1983, № 152, с. 119. Нашему герою посвящен один абзац: «В 1920 году, вскоре после освобождения Прибалтики от большевиков, некоторое время в Балинове жил в качестве моего домашнего учителя известный в петроградских литературных кругах писатель Леонард Юлианович Кормчий (Кароль Пуришкевич [sic! — Авт.]), впоследствии издававший в Риге журнал «Юный читатель»».

¹⁰ Сотрудничество в «Сегодня» свелось к двум-трем клеюным заметкам из Режицы. В дальнейшем газета «Сегодня» и близко не подпускала Короля-Пурашевича к своим полосам. Упоминаемый город Двинск — ныне Даугавпилс, Режица — Резекне.

¹¹ «Русская книга», 1921, № 9, с. 27.

¹² Нео-Сильвестр (газетный псевдоним Гроссена). На буреломе. — Франкфурт-на-Майне, 1971, с. 109.

¹³ См.: Плюханов Б. Неизвестное письмо А. Блока. — «Даугава», 1981, № 1, с. 115—116. В статье Б. Плюханова

1929 г. она имела возможность наблюдать нашего героя в редакции рижской газеты «Слово». В 1932 г. Е. Магнусгофская издала роман «Зимние звезды», где весьма резкими штрихами набросала портрет Кормчего:

«Личность маленького роста с физиономией ярко выраженного татарского типа. В нем можно было признать или журналиста или сыщика. Рахудин был первым . . . Рахудин, или как его называли метко коллеги — «Паскудин», принадлежал к тому типу журналистов, которые до седых волос не идут дальше третьеразрядных репортеров. Его отдел был — полицейская хроника, причем он выезжал всегда на самых грязных подробностях. Размазывать грабежи и самоубийства он был спец . . . Но Рахудин не умел «подавать материал» интересно. Секретарю с ним было много работы . . . Единственное повышение, которое давалось Рахудину, это когда газета подписывалась им за редактора там, где редактору это было конфузно. Выходили же такие журнальчики. Для одного из них и берег Рахудин свои раешники, если их не хотела печатать

газета. Он собирал все номера, где значилось «Редактор Рахудин» и впоследствии с важностью говорил: «Когда я был редактором такого-то журнала или газеты», даже если издание доживало только до третьего номера. Рахудин хватался в журналах за все. Писал даже стихи, причем последние старательно выписывал из старых, очень старых изданий, иногда имея смелость компилировать два в одно, пользуясь мало-мальски подходящими размерами. И гадил таким образом оба. Рахудина били, и не раз, часто жестоко, но это все же не мешало ему пользоваться самым бессовестным образом чужими материалами. Это сотрудники давно заметили и поэтому остерегались говорить при нем о своем материале, пока последний не был напечатан. Украдет!»¹⁴.

В Риге Л. Король-Пурашевич под разными фамилиями издал 12 книг и напечатал 5 авантюрных газетных романов и несколько десятков рассказов. Не будем давать оценку их литературным достоинствам, приведем только вполне адекватную рецензию на одну из книг («Мир любви», 1931), напечатанную в парижской газете:

в название романа Магнусгофской вкралась опечатка — «Земные звезды».

¹⁴ Магнусгофская Е. Зимние звезды. Изд. автора. Рига, 1932, с. 82—84.



Среди членов редколлегии спустя год. Л. Пурашевич — крайний слева.

«В предисловии издателя заключается и оценка самой книги: «это просто талантливые мелочи пера». Из того же предисловия мы узнали, что «Кормчий — незаурядный художник слова», пишет уже 25 лет и писательской славе отчасти обязан своей супруге, Любови Константиновне. «Это два тела, но одна душа, живущая интересами любимого искусства», как, несколько увлекаясь, пишет издатель.

«Мелочи пера» показывают, что автор любит «Цветы», особенно «Гиацинты», «Орхидеи» (или, как пишет Кормчий, «Архидеи», по-видимому производя это слово от греч. «архи» и «део») и, кроме того, «Папоротник». Большинство «мелочей» — легенды из разных эпох, до современности включительно. «И плюнул в омерзении Сатана. Воплотился плевком Сатаны: в дни осуждения родился Маркс». Таков стиль, таково и содержание «мелочей». По-видимому, Любовь Константиновна плохая опора в деле любви к искусству»¹⁵.

В 1939 г. Король-Пурашевич уехал в Германию вместе с немцами — репатриантами из Латвии.

Историк русской эмигрантской литературы Темира Пахмусс сообщает, не указывая источник своей информации, что Король-Пурашевич боролся своим пером против безумств Гитлера и умер в Западной Германии¹⁶.

Но как ни щедро биография этой «переметной сумы» на различные волты и зигзаги, трудно представить его в роли борца Сопротивления. Остается поверить только в факт смерти уже после войны.

Но вернемся к 1921 г. В этот период Король-Пурашевич писал все что угодно: бульварные романы, раешники, фельетоны, рассказы о жестоких комиссарах, измывающихся над Россией, причем каждого из этих комиссаров (или чекистов) в конце рассказа постигала какая-нибудь незамысловатая кара. В связи с чем Мих. Мионов (Цвик) и написал такую эпиграмму:

Любимец «Нового пути»¹⁷,
Гроза и совесть «Совнаркома»!

¹⁵ «Новая газета», 1931, 15 марта.

¹⁶ Pahmuss Temira. Russian Literature in the Baltic between the World Wars. — Columbus (Ohio), 1988, p. 31.

¹⁷ Газета советского посольства в Риге.

О, он сумел бы в два приема
Россию бедную спасти!
Он всю неделю изнывает
В бреду кровавого кошмара,
А по субботам убивает
Чекиста или комиссара.
И если дальше так пойдет,
В сто лет всех красных перебьет!
Давно уже проект готов
(Не говорите никому)
Воздвигнуть памятник ему,
Из комиссарских черепов¹⁸.

А вернувшись к 1921 году, вернемся и к Leo Ly.

Еще 20 августа в «Рижском курьере» появилась его заметка «Из воспоминаний об Александре Блоке», предвещающая публикацию в «Руле». Это, по существу, была первая вылазка, нечто вроде пристрелки. Заметка пошловатая, плоская, снабженная стихами пока что самого Leo Ly: Лик красоты необычайной, Ковчег духовной чистоты И в том, что было людям тайной И в том, чем жгут его листья. В час откровенный и интимный, В беседе с другом глаз на глаз Религиозный и наивный Мудрец — был светел, как

алмаз...

Под «беседой с другом» следовало понимать общение с самим Leo Ly. Между тем, выясняется, что общение было какое-то одностороннее.

«У меня было странное знакомство с Блоком. Много лет тому назад я написал ему из Москвы стихотворное послание, желая посылить выразить ему мой восторг и мое удивление этому ароматному, как цветок, таланту. Я подписался Leo Ly, — т. к. очень боялся, что при возможном личном знакомстве может быть нарушено то очарование, которое испытывал я от поэзии А. Блока не будучи знаком с ним...

Переписка наша длилась почти до самого моего отъезда из России, и я знаю точно все его переживания, поскольку они отразились в его письмах и нигде не напечатанных стихах...»

Итак, знаем отсюда:

1) переписка Leo Ly с Блоком длилась много лет. Надо ли говорить, что никаких следов ее в архиве Блока не обнаружено;

¹⁸ «Рижский курьер», 1921, № 299, 24 декабря.

2) Leo Ly пребывает в Москве, что дает ему возможность (учитывая его феноменальную застенчивость и боязнь разочарования) избегать случайных встреч в Петербурге;

3) Leo Ly знает точно все переживания поэта. И поэт почему-то охотно делится ими с неведомым ему корреспондентом в полумаске, хотя скуп был на излияния чувств даже с близкими;

4) нигде доселе не напечатанные стихи Блока удивительно непохожи на стихи Блока, зато схожи с теми стихами самого Leo Ly, которые он вкрапляет в свои заметки.

Леонард Король-Пурашевич неоднократно сочинял псевдонимы, обыгрывая свое имя. Иногда это был Лео Нарт («Рижский курьер», 1921, № 55, 254, 313; газета «Любовь, брак, флирт», 1925, № 23), иногда граф Леон Гард (на титуле книги «Ландрю — убийца женщин, или Тайны виллы Гамбэ», Рига, 1922). Вспомним и «Лео», появлявшегося в тех же альманахах, что и «Л. Кормчий».

Но почему же в данном случае не просто Leo, а еще и Ly?

Думается, потому, что соавтором его являлся, по-видимому, именно тот человек, который обозначен как Ly.

Человек этот — Александр Михайлович Перфильев.

В «Рижском курьере» он подвизался пока еще в должности корректора, в состав редакции не входил, но печатал в газете стихи под псевдонимом «Александр Ли». Под этим псевдонимом он впоследствии выпустил две книги стихов: «Снежная месса» (1925) и «Листопад» (1929).

Зарабатывая на хлеб пером, А. М. Перфильев писал фельетоны, юмористические стишки, подтекстовки к музыкальным сочинениям (так, на самом деле ему, а не О. Строку¹⁹ принадлежат все тексты танго последнего, включая и знаменитое «О, эти черные глаза»²⁰: Строк просто покупал у него авторство), пе-



А. М. Перфильев (из группового снимка 1936 года).

чал рассказы и воспоминания (в которых далеко не всему можно доверять).

Уцелев во время сталинской чистки Прибалтики в 1940—1941 гг., он сотрудничал в оккупационных русскоязычных изданиях 1942—1944 гг., потом как бывший казачий офицер служил у Шкуро в Северной Италии, опять-таки чудом ускользнул при передаче англичанами казачьих частей советским властям. Жил в Западной Германии, сотрудничал на радиостанции «Свобода». Умер в 1973 г. в Мюнхене.

К шестилетию со дня смерти Блока Александр Ли напечатал в рижской газете «Слово» очерк «Последняя встреча с Блоком» (16 августа 1927 г.). Не вдаваясь в подробную оценку этого сочинения, хотим предостеречь грядущих любителей переписывания материалов из ранее труднодоступной старой периодики: этот коллаж из чужих мемуаров еще можно назвать «исторической беллетристикой», но воспоминаниями А. М. Перфильева он ни в коей мере не является.

Впоследствии в воспоминаниях «Весь мир» Александр Михайлович писал, что в 1916 г. «два раза был с визитом у Блока. Принял он меня чрезвычайно сердечно и просто...

¹⁹ Строк Оскар (Ошер) Давидович (1892, Двинск — 1975, Рига), автор многочисленных эстрадных сочинений, из которых сохранили свою известность танго 20—30-х годов.

²⁰ Сабурова Ирина. Предисловие к книге «Александр Перфильев. Стихи». — Мюнхен, 1976, с. 5.

Так, вероятно, умеют разговаривать с детьми чрезвычайно умные люди, не показывая своего превосходства...»²¹

Сказать что-то о Блоке, кроме общих мест, Перфильев явно не мог. И именно это позволяло ему быть раскованным. Выброшенный из седла (и буквально и переносно) бывший офицер, лихо кропавший стихи под кого угодно, и бесшабашный газетный головорез составили, как ныне говорят, тандем.

Самый факт «знакомства» («два раза был с визитом»), безопасная отдаленность как от Петрограда, так и от Берлина, где издавался «Руль», пониженное чувство ответственности за свои поступки (по многим данным, Перфильев в это время злоупотреблял кокаином; одним из подтверждений является все тот же роман «Зимние звезды», где Перфильев выведен под тем именем, которое ему дали в редакции «Слово»: Ша-ша) — все вместе подвигало на замысел «подурачить честную публику».

Обоим казалось, что именно лира Блока легко давалась молодому Перфильеву. Вот что писал о его «Снежной мессе» Константин Мочульский в парижской газете «Звено»:

«Он подпеваает своим тоненьким голоском Блоку, но всегда немного детонирует и сбивается на Надсона и даже Вертинского. На земле кровь, грязь, «пьяная Голгофа», а седой старичок Октябрь «дует в ситечко», Ласково веря, что снежною

пудрою
Можно запудрить болячки
земли.

До чего это парфюмерно-трогательно! Есть и блоковские стихи о России, и блоковская мистическая эротика, и цыганщина, напр.:

То тогда, на гитарном грифе,
Отгоняя раздумья прочь,
Помолись о бессвязном мифе,
Отошедшем в глубокую ночь,
но все это — дешевая псделка для неразборчивого потребителя, любящего чувствительный стишок и мелодекламацию.

Автор сообщает нам, что кто-то его назвал бездарным поэтом и возражает:

²¹ «Русская мысль» (Париж), 1966, 10 ноября.

«И бездарный поэт может чутко душой понимать...»

Вполне с ним согласны»²².

И явно Король-Пурашевич, гбраздый на всякий подлог и плагиат (в свое время он заново переписал «Остров сокровищ», а в 30-е годы — один из романов Эдгара Уоллеса), подбил Перфильева: «Не зарывая свой дар. Дерзнем!»

Они дерзнули. Правда, в тех пределах, чтобы лишь утвердить имя Leo Ly, но не рискуя далее эксплуатировать эту жилу: дохода это не приносило, а попасться можно было легко: рано или поздно пришлось бы предъявить автографы Блока. И характерно, что ни тот, ни другой впоследствии не обмолвились о своей шутке.

Заложенная шалунами из «Рижского курьера» мина в отличие от неметафорической сработала по меньшей мере трижды.

В 1923 году в своей книге «Новая русская поэзия», вышедшей в Берлине, рижскую липу, не усомнившись, воспроизвел в главе о Блоке когда-то близкий к нему филолог и критик Евгений Аничков.

Сорок лет спустя крупнейший историк эмигрантской литературы Глеб Струве²³ перепечатал обе заметки из «Руля» как забытое «свидетельство», правда сопроводив их сомнениями:

«Конечно, легко отместить приведенные «Лео Ли» стихотворные послания как подлог, апокриф, мистификацию. Уверенности в их подлинности не может быть. Хотя у редакции «Руля», очевидно, и были какие-то основания поверить автору, она могла попасться на удочку какого-то мистификатора. Многие в стихах наводит на сомнения. На Блока они — во всяком случае местами — не очень похожи (но не забудем, что он в то время был тяжело болен). Блок вообще не имел обыкновения переписываться стихами. Подозрительно предупреждение автора заметок насчет «эпистолярного стиля» Блока.

²² Следует заметить, что «Снежной мессе» была посвящена благосклонная рецензия Бальмонта — «Последние новости» (Париж), 1924.

²³ О нем см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. Глеб Струве — историк литературы. — «Русская литература», 1990, № 1.

Странное впечатление производит пунктуация в стихах, не блоковская и местами (особенно обилием тире) подозрительно похожая на пунктуацию самого Ли. И кто такой сам этот Leo Ly? Ни в переписке Блока, ни в его дневниках (где, правда, многие имена зашифрованы), ни в мемуарной литературе это имя не встречается.

Хорошо было бы, если бы те из зарубежных русских, кто знал Блока, высказали по этому поводу свои соображения. Но пока не доказана подложность приведенных выше стихотворных «документов», они должны быть как-то приобщены к литературе о «Двенадцати»²⁴.

Печатавшийся в той же газете, где напечатан призыв Г. Струве к тем, кто «знал Блока», А. Перфильев-Ли своих соображений не высказал.

А еще четыре года спустя литератор А. А. Плюшков-Угрюмов, племянник ближайшего блоковского друга Е. П. Иванова (встречавшийся, кстати говоря, с Перфильевым в Риге при немцах, когда А. А. Плюшков публиковался в местных русских газетах под псевдонимом «А. Сиверский») набрал на то же заминированное место:

«В октябре 1966 года я получил от одного русского научного работника, живущего за границей, знающего,

что я интересуюсь вопросами, связанными с А. А. Блоком, и опровергаю неосновательное мнение некоторых, которые считают поэта козунником, сведения о том, что в газете «Руль», издававшейся на русском языке в Берлине под редакцией В. Набокова (отца ныне здравствующего писателя Набокова-Сирина), в 1922 году было опубликовано посмертно (А. А. Блок умер 7 августа 1921 года) стихотворение-письмо поэта к литератору Лео Ли, датированное 19 июля 1920 года, то есть почти за год до смерти поэта и примерно через полтора года после появления «Двенадцати» в печати»²⁵.

И далее следует разбор мировоззрения Блока на основании все той же рифмованной ахинеи. Так что год 1967-й стал для Пирагиса-Король-Пурашевича годом двойного посмертного триумфа: эмигрантский журнал печатал послание Блока к «милому Лео», а советский журнал воспроизводил его архи красную статью из «Правды».

Как известно, фальшивки обладают удивительной, рационально почти необъяснимой живучестью. Но все же выскажем осторожную надежду, что сегодня эта малоаппетитная стряпня перепечатывается в последний раз.

²⁴ «Русская мысль», 1962, 30 января.

²⁵ Угрюмов А. Александр Блок, Евгений Иванов и их окружение. — «Возрождение» (Париж), 1967, № 189, с. 63—64.

ЮБИЛЕЙ

К ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА

В эти дни, когда тянет оттуда трупным запахом юбилея, — отчего бы и наш юбилей не поприрадовать? Десять лет презрения, десять лет верности, десять лет свободы, — неужели это недостойно хоть одной юбилейной речи?

Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства. Мы так насыщены им, что порою нам легко измываться над его предметом. Легкое дрожание ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза — и молчание. Но сегодня давайте говорить.

Десять лет презрения. Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какого-нибудь Компом-цом, а ту уродливую тупую идейку, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев, новую разновидность, *formica marxi var. lenini*. И мне невыносим тот приторный вкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком. Мещанской скукой веет от серых страниц «Правды», мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его головушка. Говорят, поглупела Россия, да и немудрено... Вся она расплылась провинциальной глушью, — с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого-затейливым театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посредине пыльной улицы.

Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как

нечто, глупо посягающее на мое свободное «я», как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства. Сила моего презрения в том, что я, презирая, не разрешаю себе думать о пролитой крови. И еще в том его сила, что я не жалею, в буржуазном отчаянии, потери имени, дома, слитка золота, недостаточно ловко спрятанного в недрах ватерклозета. Убийство совершает не идея, а человек, — и с ним расчет особый, — прощу я или не прощу — это вопрос другого порядка. Жажда мести не должна мешать чистоте презрения. Негодование всегда беспомощно.

И не только десять лет презрения... Десять лет верности празднуем мы. Мы верны России не только так, как бываешь верен воспоминанию, не только любим ее, как любишь убежавшее детство, улетевшую юность, — нет, мы верны той России, которой могли гордиться, России, создавшей медленно и мерно и бывшей огромной державой среди других огромных держав. А что она теперь, куда ж ей теперь, советской вдове, бедной родственнице Европы?.. Мы верны ее прошлому, мы счастливы им, и чудесным чувством схвачены мы, когда в дальней стране слышим, как восхищенная молва повторяет нами сыздетства любимые имена. Мы волна России, вышедшая из берегов, мы разлились по всему миру, — но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разные мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россией, под-

час убогих и злобных, подчас враждующих между собой, — есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк.

И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, быть может, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живет и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные

граждане нашей мечты. Наше расеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам возможность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну...

В эти дни, когда празднуется серый эсэсерский юбилей, мы празднуем десять лет презрения, верности и свободы. Не станем же пенять на изгнание. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх: «Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом».

ТОРЖЕСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ

Поверхностному уму может показаться, что автор этой статьи находится в более выгодном положении, чем любой советский критик, который, живо чувствуя классовую подоплеку литературы, проводит отчетливую черту между литературой буржуазной и пролетарской. Мое преимущество перед ним как будто заключается в том, что я совершенно неосознательный элемент, не питаю никакой классовой ненависти к людям, живущим лучше меня, к золотозубому биржевику, хлещущему с утра шампанское, или к упитанному швейцару, состоящему, — как, впрочем, все берлинские швейцары, — в коммунистическом ордене, — а по-сему могу подходить к политике, философии, литературе без буржуазных или иных предрасположений. Однако пронизательный и честный советский критик ответит, что человеческий, внеклассовый подход к вещам — абсурд, или точнее, что самая беспристрастность оценки есть уже скрытая форма буржуазности. Утверждение чрезвычайно важное, ибо из него следует, что выдержанный коммунист, потомственный пролетарий, и несдержанный помещик, потомственный дворянин, по-разному воспринимают простейшие в мире вещи — удовольствие от глотка холодной воды в жаркий день, боль от

сильного удара по голове, раздражение от неудобной обуви и много других человеческих ощущений, одинаково свойственных всем смертным. Напрасно я стал бы утверждать, что ответственный работник чихает и зевает так же, как безответственный буржуа; не я прав, а советский критик. Все дело в том, что классовое мышление — некая призрачная роскошь, нечто высоко духовное и идеальное, единственное, что может спасти от понятного отчаяния пролетарского человека, анатомически устроенного по буржуазному образцу и обреченного не только жить под буржуазной синевой неба и работать буржуазными пятипальными руками, но и носить в себе до конца дней того костлявого персонажа, которого буржуазные ученые зовут буржуазным словом «скелет».

И вот получается любопытная вещь: как Марксово учение приобретает вдруг оттенок необычайной духовности при сопоставлении его с низкой буржуазной анатомией самого марксоведа, точно так же и советская литература по сравнению с литературой русской, с литературой мировой, проникнута высоким идеализмом, глубиной гуманностью, твердой моралью. Мало того: никогда ни в одной стране литература так не славилась добро и знание, смирение и благочестие, так не ратовала за нравственность, как это делает с начала своего существования совет-

ская литература. Если уже искать слабую аналогию, то нужно обратиться к невинному младенчеству европейской литературы, к тому весьма отдаленному времени, когда разыгрывались бесхитроные мистерии и грубоватые басни. Черты с рогами, скупцы с мешками, сварливые жены, толстые мельники и пройдохи дьяки, — все эти литературные типы были до крайности просты и отчетливы. Моралью кормили до отвала, суповой ложкой. Разглагольствовали звери, — домашний скот и лесные твари, — и каждый из них изображал собой человеческий атрибут, был символом порока или добродетели. Но, увы, литература не удержалась на этой дидактической высоте, ей грехопадением была первая любовная песня.

К счастью, нет никаких оснований предполагать, что советская литература в скором времени свернет с пути истины. Все благополучно, добродетель торжествует. Совершенно неважно, что превозносимое добро и караемое зло — добро и зло классовые. В этом маленьком классовом мире соотношения нравственных сил и приемы борьбы те же, что и в большом мире, человеческом. Все знаковые литературные типы, выражающие собой резко и просто хорошее или худое в человеке (или в обществе), светлые личности, никогда не темнеющие, и темные личности, обреченные на беспросветность, все эти старые наши знакомые, резонеры, злодеи, праведные грубияны и коварные льстецы, опять теснятся на страницах советской книги. Тут и отголосок «Жизни дяди Тома», и своеобразное повторение какой-нибудь темы из старых приложений к «Ниве» (молодая княжна увлекается отцовским секретарем, честным разношнцем с народническими наклонностями), и искание розы без шипов на торном пути от политического неведения к большевицкому откровению, и факел знания, и рыцарские приключения, где Красный Рыцарь разбивает один полчища врагов. То, что в общечеловеческой литературе до сих пор так или иначе еще держится в произведениях высоко нравственных дам и писателей для юношества и будет, вероятно, держаться до конца мира, повторяется

в советской литературе как нечто новое, с апломбом, с жаром, с упоением. Мы возвращаемся к самым истокам литературы, к простоте, еще не освященной вдохновением, и к нравочительству, еще лишенному пафоса. Советская литература несколько напоминает те отборные елейные библиотеки, которые бываюют при тюрьмах и исправительных домах для просвещения и умиротворения заключенных.

Имена не запоминаются, имен нет. Матрос в изображении писателя второго сорта и матрос в изображении писателя сорта третьего ничем друг от друга не отличны, и только обезумевший от благонамеренности пролетарский критик может там и сям выскоблить ересь. В этой, в лучшем случае второсортной, литературе (первого сорта в продаже нет) тип матроса так же отчетлив, как, скажем, старинный тип простака. Этот матрос, очень любимый советскими писателями, говорит «амба», добродетельно матюгается и читает «разные книжки». Он женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается. Матрос — светлая личность, хотя и туповат. Несколько похож на него тип «солдата» — другой баловень советской литературы. Солдат тоже любит тискать налитых всякими соками деревенских дивчат и ослеплять своей белозубой улыбкой сельских учительниц. Как и матрос, солдат часто попадает из-за бабы впросак. Он всегда жизнерадостен, отлично знает политическую грамоту и щедр на бодрые восклицания, вроде «а ну, ребята!». Мужики избирают его председателем, причем какой-нибудь старый крестьянин неизменно ухмыляется в бороду и одобрятельно говорит: «здорово загнул парень» (т. е. старый крестьянин прозрел). Но популярность матроса и солдата ничто перед популярностью партийца. Партиец угрюм, мало спит, много курит, видит до поры до времени в женщине товарища и очень прост в обращении, так что всем делается хорошо на душе от его спокойствия, мрачности и деловитости. Партийная мрачность, впрочем, вдруг прорывается детской улыбкой или же

в трудном для чувств положении он кому-нибудь жмет руку и у боевого товарища сразу слезы навертываются на глаза. Партиец редко бывает красив, но зато лицо у него точно высечено из камня. Светлее этого типа просто не сыскать. «Эх, брат», — говорит он в минуту откровенности, и читателю дано одним глазком увидеть жизнь, полную лишений, подвигов и страданий. Его литературная связь с графом Монтекристо или с каким-нибудь вождем краснокожих совершенно очевидна.

Такой ответственный работник не моется вовсе. Ответственная работница, о которой речь дальше, брызжет себе в лицо водой, и туалет окончен. Беспартийный обтирается холодной водой. Спец буржуазного происхождения обтирается не водой, а одеколоном, следуя воскресному роскошествованию Чичикова. Ни один из типов, излюбленных советскими писателями, незнаком с ванной, и этот аскетизм находится в связи с тем известным отвращением, которое стыдливая добродетель искони питает к мытью.

Прогуливаясь далее по галерее литературных образов, мы встречаем тип старшего рабочего (или иногда чиновника). Это человек с говорком, с лукавинкой. Писатель делает его беспартийным только для того, чтобы разблочить мнимую или поверхностную партийность иных ребят — мошенников и хулиганов. «Зачем мне в партию, — говорит он, — я и так большевик. Дело не в обрядах, а в вере». Другой тип беспартийного (тот, который обтирается холодной водой) — личность подозрительная — из бывших интеллигентов, белая кость из него так и прет. Его избличают и гонят в шею, или же, благодаря женщине, добродетельной коммунистке, он вдруг начинает понимать свое ничтожество. Он собой открывает серию злодеев. Вот, например, кулак (почему-то чаще всего мельник). У него толстый живот, он хитер и жаден, сперва эксплуатирует бедняков, а затем, когда, как гром Господень, настагает его революция, он примыкает к кадетской партии, довольно бесстрашно — в своей грешной слепоте — ругает в лицо большевиков, пришедших реквизировать у него муку и мельницу, и должным образом гибнет от удара

штыка в его толстый живот. А вот птица покрупнее — спец или председатель треста, живущий в великосветской обстановке с женой, кричащей на прислугу, и с канарейкой, поющей на кухне. Опустившись еще ниже, находим старую графиню. Старая графиня говорит «мерси», жеманно кланяется и пьет чай, отставив мизинец. Изредка мелькают белогвардейские сангвиники, генералы, попы и т. д. Достоин внимания и тип интеллигента — профессор или музыкант. Он скучноват, страдает разными болезнями, слабобен и с тайной завистью смотрит на своих детей, вступивших в коммунистический союз молодежи. Политически он в худшем случае меньшевик.

Еще проще обстоит дело с типами женскими. У советских писателей подлинный культ женщины. Появляется она в двух главных разновидностях: женщина буржуазная, любящая мягкую мебель и духи и подозрительных спецов, и женщина-коммунистка (ответственная работница или страстная неофитка), — и на изображение ее уходит добрая половина советской литературы. Эта популярная женщина обладает эластичной грудью, молода, бодр, участвует в процессиях, поразительно трудоспособна. Она — помесь революционерки, сестры милосердия и провинциальной барышни. Но кроме всего она святая. Ее случайные любовные увлечения и разочарования в счет не идут; у нее есть только один жених, классовый жених — Ленин.

Нетрудно представить себе, какая, при наличии данных типов, может получиться фабула. Если, говоря на метафизическом советском языке, установка в романе на пол, то вскрывается отношение героини к матросу, к солдату, к бедняку, к кулаку, к сомнительному специалисту и к ее надушенной сопернице — супруге специалиста. Как и простоватый, но все же святой, матрос иногда невольно грешит против класса в своем здоровом, но неосмотрительном увлечении буржуазной женщиной, так и святая героиня — Катя или Наталья — бывает иногда введена в дьявольское заблуждение, и предмет ее нежных забот оказывается еретиком. Но, как и матрос, героиня находит в

себе силы разбить козни лукавого и вернуться в лоно класса. Партиец застреливает недостойную возлюбленную, комсомолка на другом углу застреливает недостойного поклонника. Другой тип романа, — обличительный: проворовавшихся чиновников постигает суровая кара, или же мрачный ответственный работник тонко вскрывает страшную ересь, сокрытую в соблазнительных речах и действиях беспартийного. Еще показывается молодежь — какую она должна быть и какую быть не должна, а не то сельский учитель прилежно ищет истину и находит ее в коммунизме. Писатели получше любят тему неверующего интеллигента на фоне радостной кумачовой советской жизни.

Торжество добродетели полное, — по всему фронту, выражаясь опять на соответствующем языке. Если попадает ересь, соблазн, то для мирянина это неощутимо, и нужно быть пролетарским критиком, искушенным в этих высоких материях, чтобы найти тайную печать дьявола. Я умышленно не касаюсь того, хорошо ли или плохо это служение добродетели. Меня только занимает воп-

рос — стоило ли человечеству в продолжение многих столетий углублять и уточнять искусство писания книг, — и русские писатели работали над этим немало, — стоило ли и стоит ли трудиться, когда так просто вернуться к давным-давно забытым образцам, мистериям и басням, вызывающим, быть может, зевоту у простого народа, но зато с должной силой восхваляющим добродетель и бичующим порок? Давайте лучше, господа, захлопнем наши грешные, буржуазные книги, вытащим праведного советского цензора из его скромной кельи, ему тесно в его классовом мирке, он достоин большего простора... Давайте вытащим его, дадим ему всемирные полномочия, пускай он, — с твердостью фильмового режиссера, — направляет нас на путь добра, беспощадно карает зло, обличает взяточничество, лицемерие, гордыню человеческую и на фоне брезжущей зари соединяет в дивном поцелуе уста простой девушки и благочестивого парня. А вы, талантливые грешники, — молчок!

Публиковалось под псевдонимом «В. Сириин».



Кресты над Домом знаний...

Инна КАНЕВСКАЯ

КРЕСТЫ НАД ДОМОМ ЗНАНИЙ

Боже мой! Представляю, какие чувства испытывали верующие, проходя мимо бывшего Христорождественского собора в Риге. Обескрещенный в начале 60-х годов, он превратился в оплот атеизма под названием Республиканский Дом знаний, и дабы об этом не позабыли, над входом были прибиты вывески на двух языках: «Кинолекторий» и «Планетарий» . . .

И ничего. Детишки с восторгом смотрели на звездное небо, любители прекрасного посещали художественные выставки, любознательные товарищи без усталости вооружались марксистско-ленинской теорией, попутно ликвидируя поголовную половую безграмотность на лекциях по сексопатологии. А творческая молодежь, она же богема, больше всего любила . . . правый притвор бывшего храма. Пожалуй, это был самый посещаемый уголок здания, поскольку наряду с туалетами здесь располагается и уютное кафе, остроумно окрещенное завсегдатаями «Божьим ухом» (в 60-е годы рижане именовали его иначе — «У Христа за пазухой»). До знаменитого указа 1985 года приличный ассортимент алкогольных напитков был всегда к услугам посетителей. В часы вечерни храм содрогался: служители Бахуса с особым рвением справляли здесь свои обряды. За наличные и, что особенно приятно, в кредит.

За долгие годы отлучения от церкви наше общество, к сожалению, а может быть, и к счастью, так и не смогло найти ей достойной замены. И слава Богу, что наконец одумались. Снова восстанавливаются храмы и люди могут не таиться в своей вере. Правительство республики по инициативе Народного фронта Латвии приняло решение вернуть здание православной церкви. Правда, за свое более чем вековое существование собор в формах византийского стиля (построен в 1876—1884 гг. по проекту архитектора Р. Пфлуга) превращался и в лютеранскую церковь. В пору немецкой оккупации в 1914 году шестиконечные кресты были переделаны в четырехконечные и здесь проводились лютеранские богослужения и обряды. В годы Латвийской Республики собор снова стал православным, но до того печального 1963 года так и стоял с обрезанными лютеранскими крестами.

О былой красоте пятикупольного собора можно прочесть в очень старых книгах: «Красные и желтые черепицы, голубые купола с золотыми полосами оживляют внешний вид. Колокол, весом 820 пудов, подарок покойной императрицы Марии Александровны».

Фотографий с той поры, как ни странно, осталось множество. Сохранились и обрезанные кресты. Латвийские архитекторы сумели графически воссоздать их первоначальный облик и свои чертежи отправили в Западную Германию — уроженцу Латвии господину Валдемару Фелдманису. Приехав два года назад на родину и увидев бедственное положение храма, в котором его крестили, он предложил свою бескорыстную помощь в его восстановлении.

И вот десять позолоченных крестов из алюминиевого сплава прибыли в Ригу. По самым приблизительным подсчетам, их стоимость составляет 70 тысяч рублей. Сколько это в марках, господин Фелдманис сказать не смог, поскольку ко дню установления крестов еще не получил счетов от соответствующих фирм. Да и не волновали его деньги. Главная забота Фелдманиса — возрожденная Латвия, счастливые, радостные лица соотечественников и . . . «чтобы это ужасное кафе поскорее отсюда убрали», — сказал он тысячам рижан, собравшимся посмотреть на торжественное водружение крестов на купола пока еще бывшего и будущего Христорождественского собора.

Это было прекрасное зрелище. Митрополит Рижский и Латвийский Леонид торжественно освятил кресты, поблагодарил господина Фелдманиса и его супругу за этот дорогой подарок и вручил им в свою очередь золотое пасхальное яйцо. Запел митрополичий хор, затем огромный башенный кран поднял в воздух первый крест. Группа альпинистов приняла его и начала установку.

Сейчас кресты на храме продолжают соседствовать с вывесками «Планетарий» и «Кинолекторий». Любознательные товарищи продолжают расширять свой кругозор: особым успехом пользуются лекции экстрасенсов, йогов и очевидцев пришествия НЛО. В духе происходящих перемен в открывшемся видеосалоне наряду с эротическими фильмами демонстрируются и религиозные. У Христорождественского собора, как и у республики, переходный период . . .

Только через три года, когда Дому знаний найдут подходящее помещение, храм окончательно перейдет к верующим. Но начало положено и, дай Бог, на многие лета.



Кресты над Домом знаний . . .

О ПОДПИСКЕ, ДОСТАВКЕ И СЛУХАХ

Обзор писем в редакцию

«С громадным огорчением услышала, что ваш журнал прекращает свою деятельность. Поверьте, что нам это так же тяжело, как и вам . . . Если есть какая-то надежда, прошу сообщить . . .»

Спешим успокоить москвичку Валентину Ивановну Охупкину: эти слухи сильно преувеличены. Журнал выходит и, надеемся, будет выходить. Но, к сожалению, для многих наших читателей в разных регионах страны «Даугава» становится все менее и менее доступной.

Приблизительно каждое десятое письмо в почте «Даугавы» — это жалоба, касающаяся трудностей с подпиской или плохой доставки журнала.

«Как обычно, в конце прошлого года я подписался на ваш журнал, но только на первое полугодие. В феврале решил продлить подписку до конца года. Зашел в отделение «Союзпечати», но там подписку не приняли. Сослались на указание «сверху». Показали телеграмму из Киева от 5 января 1990 года: «Не принимать подписку с февраля и последующих месяцев на издания Прибалтики. Министр Деликатный». Может, это инициатива местных партийных вождей? На другие издания — Москвы, Киева — подписка разрешена? . . .», — недоумевает наш читатель Л. Сахаров из Днепропетровска.

В № 6 «Даугавы» напечатано интервью с республиканским министром связи. Из него следует, что ввиду трудностей с бумагой подписка на латвийские издания прекращается. Но тем, кто подписался хотя бы на первый квартал, работники «Союзпечати» обязаны подписку продлевать. Чем руководствовался министр тов. Деликатный, разослав столь странное указание, мы не знаем. Подобных писем «Даугава» получает множество.

«Работники отделения «Союзпечати» меня уведомили о том, что распоряжением из Москвы от 8 января 1990 года прекращена подписка на периодическую Латвии и Литвы, и вернули мне деньги за подписку на журнал «Даугава», — сообщает Владимир Глушенко из поселка Кузоватый Ульяновской области.

«Возобновить подписку на следующие полгода у нас не разрешают. Ее закрыли. Конечно, я понимаю, в этом вы не сможете нам помочь. Это очередной произвол, в котором мы воспитаны, с которым сжились и который вновь в действии . . . На слово, на мысль — накидывается узда», — пишет Алла Матевосян из Московской области.

С Аллой Грантовной трудно не согласиться. О фактах произвола нам сообщают Т. Каштанова из Ленинграда, Т. Кобычева из Алма-Аты, В. Иваненко из Серпуховского района Московской области, И. Мезис из Минска и десятки других читателей.

Иначе как произволом не назовешь и то, о чем сообщает рижанин А. Печенин: «Уже кончается май, а я ни одного номера «Даугавы» не получил. Идет какой-то неуправляемый процесс . . .»

Довольно странный процесс: вы платите деньги, получаете квитанцию, но журнал вам не присылают . . .

В каком цивилизованном государстве это возможно? Если почтовое отправление не поступает адресату, это чрезвычайное происшествие. Если какая-то фирма, получив с вас плату, не поставила свой товар, она по первому сигналу не только тотчас же пришлет то, что вам полагается, но и обязательно принесет свои глубочайшие извинения. «Союзпечать» — тоже фирма. Но монополия. И сколько подписчики ни жалуются, работники этой фирмы, как правило, не думают извиняться.

«Являюсь подписчицей вашего журнала. Получила № 2 и 3. По поводу № 1 ничего внятного в «Союзпечати» г. Краснодара мне не сказали, а просто предложили вернуть стоимость журнала», — пишет А. Буянова. На первый взгляд, работники краснодарской «Союзпечати» — джентльмены. Но ведь человек стоял в очереди, оформлял подписку не затем, чтобы через полгода ему отдали обратно его 45 копеек!

Л. Трунова из Казани не получила «Даугаву» № 12 за 1989 год. На вопросы подписчиков работники «Союзпечати» дают один ответ: «В Казань журнал не поступал». Читательница спрашивает: «Может быть, ваша типография забыла отправить этот номер в наш город? . . .»

Нет, дорогие товарищи подписчики, типография тут ни при чем. И редакция не виновата. Дело редакции — подготовить очередной номер и сдать его в набор. Дело типографии — его своевременно отпечатать и сброшюровать. А за доставку подписчикам любого издания должны отвечать работники почты и «Союзпечати». Должны, но, к сожалению, часто относятся к своей работе совершенно безответственно. Все, что надо отправить подписчикам, они получают сполна.

«Получил № 1 и № 3 «Даугавы», а № 2 в п/о № 17 г. Балаклавы не поступал. Чем вызвана задержка?» — с этим вопросом М. Темербулатов обращается в редакцию. Но у редакции таких сведений нет. Это почтовое отделение № 17 обязано навести справки, затребовать через «Союзпечать» журнал и вручить его подписчику. И, само собой, извиниться за доставленное беспокойство.

Фактов произвола, а зачастую и просто обмана подписчиков, можно привести и больше. Нам много пишут о недоброжелательном отношении к «Даугаве» со стороны работников почты и «Созпечати» в разных городах страны. Но те же письма говорят о другом: у «Даугавы» много друзей по всей стране.

« . . . Был крайне огорчен, узнав, что у вас неприятности, быть может того же порядка, что у вашей «землячки» — «Советской молодежи»? — пишет нам постоянный читатель из города Тогучина В. Хандогин. — Тогда, может быть, есть смысл помочь миром, сообщая: собрать деньги, организовать кампанию поддержки? . . . Готов откликнуться сразу — да и не я один — только дайте знать!

И ни в коем случае не молчать, не сдаваться!»

Спасибо за добрые слова! К счастью, мы не нуждаемся пока в «сборе средств» или иной материальной поддержке. Но молчать и сдаваться, разумеется, не надо — это верно. И в первую очередь эти слова следует адресовать нашим читателям, вам, уважаемые подписчики. Не молчите, требуйте, чтобы ни один номер журнала не пропал «где-то в пути». Чтобы подписку продлевали тем, кто подписался хотя бы на один квартал. Энергичнее боритесь за свои права — права подписчиков!

За редакцией дело не станет. Мы будем готовить к печати очередные номера, будем стараться с помощью наших читателей и авторов делать «Даугаву» интересней и лучше.

А ВДРУГ?!

Прочитала пятый номер вашего журнала, и в меня вселилась надежда разыскать добрых людей.

В начале 1943 года в возрасте 11 лет я с матерью находилась в Саласпилском лагере. Больная, я так отошла, что среди тысяч таких же несчастных вызвала сочувствие у одного латыша, тоже заключенного. Я стояла у печки, и он спросил, чья это девочка и что с ней? Мать рассказала о моей болезни.

— Только не говорите об этом никому, иначе вы свою дочь больше не увидите, — сказал этот человек. А после обеда дал мне какие-то капли и еще бутерброд. И это меня спасло.

К великому сожалению, ни имени, ни фамилии этого человека я не знаю. А ведь я благодаря ему осталась жива. Теперь мне 57 лет.

После лагеря нас весной вывезли в Ригу, а затем разместили по хуторам. Мы

с матерью попали на хутор «Баяры» Мадлиенской волости Огэрского района к Станиславу Найдо. Он сам арендовал землю у хозяина по фамилии Макан (Маконис?). У Найдо нам жилось очень плохо, и тогда с помощью его хозяина нас определили к некоему Круминю на хутор «Крумини». Это были очень добрые люди. Я не помню, как звали хозяина, хозяйку, бабушку. У них были две девочки — Дайна и Рута и уже при нас родилась третья.

Мне ничего неизвестно об их судьбе. Очень бы хотелось, чтобы у них все было в порядке, и, конечно, мечтаю встретиться с ними.

У вас, наверное, возникнет вопрос: если я живу так близко от этих людей, почему не съездила?

Объясню: в 1944 году нас вывезли в Германию. Когда в 1945 году мы вернулись домой — в Бигосово (это в 6 километрах от границы с Латвией), нас считали предателями. Для меня было самым страшным, если заходил разговор о Германии. Я почему-то неизменно краснела. Так было в школе и потом, когда стала студенткой. Я упорно старалась вычеркнуть из своей жизни все, что было Не то чтобы кого-то разыскивать, я хотела забыть все свое прошлое.

Я отработала в школе 33 года, но мало кто знал, что успела побывать в лагере, в Германии. Однако в душе у меня всегда жило теплое чувство к тем людям, о которых я говорила выше.

Написала вам потому, что немножко надеюсь на счастье. А вдруг и мне повезет так же, как Елене Куцубиной из Ташкента. Ведь у «Даугавы», как говорится, легкая рука!

Н. Вуцена, г. Даугавпилс

«ПРИВЕТ» ВЕТЕРАНУ

Уважаемый главный редактор!

Я постоянный подписчик Вашего журнала, участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы. И вот к 9 мая — Дню Победы над фашизмом — получил «поздравление» от боевика из «Памяти». Предлагаю Вам для ознакомления.

Сейчас очень многие удивляются отъезду из СССР евреев. И это действительно как бы «исход». Едут инженеры и ученые, артисты и рабочие... Едут



потому, что не работают законы. Да, именно законы, которые защитили бы от антисемитизма и призвали к ответу, например такие журналы, как «Наш современник», «Молодая гвардия», «Ленинградская панорама»... Защитили бы от угроз этой самой «Памяти», от так называемых «патриотов России», а на деле ее лютых врагов.

С уважением
художник А. Рывлин.

Р. С. В посылаемом мной письме недобитка из «Памяти» есть ссылка на Гайдара. Да, я писал письмо Тимуре Гайдару, но его перехватили в Москве, вот какой я получил «привет». «Привет» ветерану ко Дню Победы.

ПО СООБРАЖЕНИЯМ ДИПЛОМАТИИ

В начале года радиостанция «Свобода» сообщила, что за несколько дней до революции в Румынии подпольщики обратились к руководству СССР за советом: следует ли свергать Чаушеску. Несколько очень высокопоставленных лиц были против.

У меня к вам просьба: используя возможности средств информации Прибалтики, выяснить фамилии этих людей и опубликовать их в печати. Это очень важно для нас и для вас.

Антонина Злобина, Новосибирск

ОТ РЕДАКЦИИ. Скорее всего речь шла не о целесообразности свержения режима Чаушеску (тут и без того было все ясно), а о возможной поддержке со стороны СССР. В таком случае едва ли ответ мог быть определенным и официальным — по соображениям дипломатии. Частные же формы рекомендаций или нерекомендаций — на любом уровне ничего не решают в отношениях между государствами и доказательно установить их, как правило, невозможно. Даже если румынская сторона захотела бы назвать имена (что она едва ли сделает), то советская опровергла бы тут же. Ибо определяющим мотивом тут, естественно, является перспектива отношений.

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Айварс Лиепиньш.

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 06.07.90.
Подписано к печати 07.08.90. L 000054.
Формат 60×90/16. Книжно-журнальная бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
11,98 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 1153. Цена 45 коп.

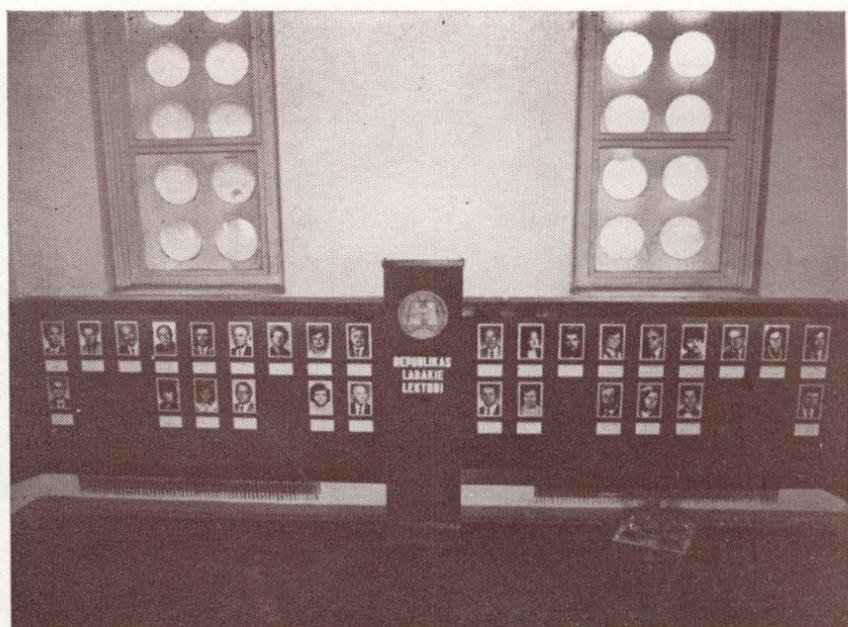
Технический редактор
Мудите АРАЯ

Корректор
Марина ВЕЙНБЕРГА

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.







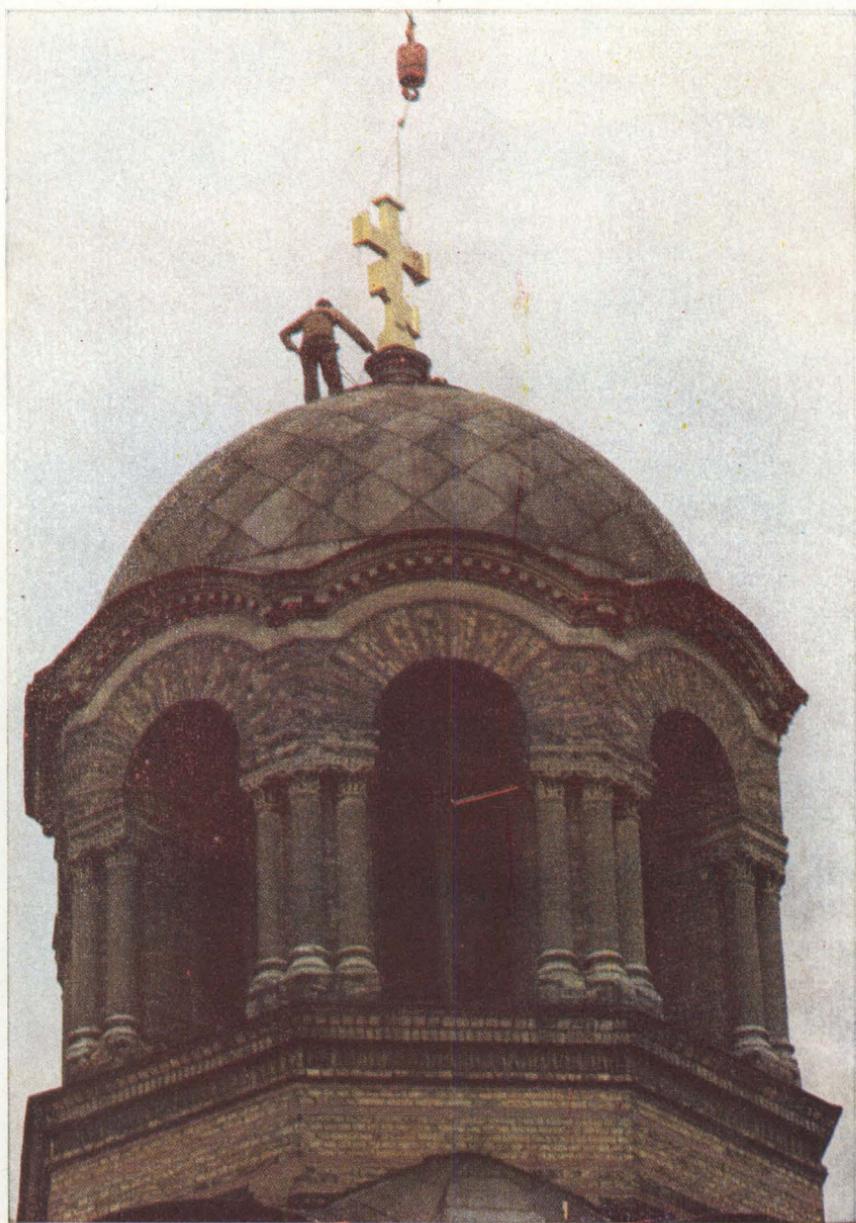


Фото Атиса Иевиньша и Ритварса Скуи



Фото Айвара Лиепиньша

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЖУРНАЛ «ДАУГАВА» ВКЛЮЧЕН ТОЛЬКО В КАТАЛОГ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ОДНАКО ВЫПИСАТЬ ЕГО НА 1991 ГОД МОЖНО И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛАТВИИ С 1 СЕНТЯБРЯ ДО 31 ОКТЯБРЯ С. Г.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НАПОМИНАЕМ: НАШ ИНДЕКС 77123.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

НА 3 МЕСЯЦА 2 РУБ. 95 КОП.,

НА 6 МЕСЯЦЕВ 5 РУБ. 90 КОП.,

НА 12 МЕСЯЦЕВ 11 РУБ. 80 КОП.

ПОДРОЖАНИЕ ЖУРНАЛА ВЫЗВАНО ОТНЮДЬ НЕ СТРЕМЛЕНИЕМ РЕДАКЦИИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ. ЭТО — СЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БУМАГУ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДОСТАВКЕ.

ТРЕБУЙТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШЕГО ПРАВА ПОДПИСАТЬСЯ НА «ДАУГАВУ»!

РЕДАКЦИЯ

ISSN 0207—4001, «ДАУГАВА», 1990, № 9, 1—128